



РОССИЯ  
ДЕРЖАВНАЯ

СЕРГЕЙ  
СМИРНОВ

ТАЙНА  
СМУТЫ





Россия державная

Сергей Смирнов

**Тайна смуты**

«ВЕЧЕ»

2019

**Смирнов С. А.**

Тайна смуты / С. А. Смирнов — «ВЕЧЕ», 2019 — (Россия державная)

ISBN 978-5-4484-8021-8

1608 год. Явился на Сечь молодой козак Тарас Палийко. Вроде обыкновенный парень, но глуповат немного. Умный был бы рад, что ему родня дарит вороного скакуна, а Тарасу всего дороже кобылка Серка, которая, хоть и резвая, «на сивую собаку» больше похожа. Да и мечты у Тараса глупые, не козацкие. Козак должен мечтать о славном походе, чтобы удаль проявить и богатую добычу взять, а Тарас витает в облаках да видит в мечтах лик девы-ангела. Но простакам везёт: достанутся на долю Тараса такие приключения, что всем удалым козакам на зависть. Скоро отправляться ему в дальний путь, потому что в Москве – смута. Как круги по воде от брошенного камня, пошло волнение по всей Руси и окрестностям. Докатилось и до Сечи...

ISBN 978-5-4484-8021-8

© Смирнов С. А., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

## Содержание

Вступление. Лето 1608 года. Корешки и вершки смуты	6
Глава первая. Перед Сечью	12
Глава вторая. На Сечи	26
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Сергей Анатольевич Смирнов

## Тайна смуты

*Моей Юлии... ибо тайной любви побеждается всякая смута*

© Смирнов С.А., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

\* \* \*

Сказ про то, как молодой козак<sup>1</sup> с запорожским войском на Москву ходил, как тайны русской Смуты на себе возил, как злой Маринке Мнишек приглянулся и что из всего этого вышло

---

<sup>1</sup> Здесь всякий украинский козак – низовой или реестровый – прописан с буквой «о», как и положено традиционно, а козак из великоросских областей – с буквой «а».

## Вступление. Лето 1608 года. Корешки и вершки смуты

Поветрий немало разных проносилось по Руси.

Смертоносные, иные выкашивали, аки траву, всю человеческую жизнь на сотни, а то и тысячи вёрст и оставляли села чернеть и тонуть в бурьян, а города – усыхать, подобно трупам лошадей в голодной степи. В такие времена Русская земля казалась пустой и безвидной. Однако ж она оставалась, несомненно, русской, русской подразумевалась невидимой вышней властью – и не приходили таборами, не заселяли пустые земли иноплеменники, а проклёвывалась новая русская жизнь, снова поднимались свежие срубы, и начинали орать во дворах петухи и дети.

Иные поветрия были вовсе таинственны и непонятны. Вдруг начинали синеть кожей люди и перхать синей слюной, но оставаясь на ногах и в трудах понемногу двигаясь, а через неделю-другую загадочная напасть проходила сама собой куда-то дальше, забыв о людях. Заносили те пугающие чудеса в книги летописцы, и потом ученые люди веками ломали головы – что за недуг промчался, как ветер, с такой стороны света, какой и не бывает...

Однако в тот век налетело на Русь поветрие, коего и досель никогда не бывало, да и в будущие века не наблюдалось. Пришло оно, когда десятью годами позже гибели своей в Угличе от рук злодеев вдруг объявился из дальней тьмы воскресшим, невредимым и даже не по годам окрепшим царевич Дмитрий Иванович, а вот дотянувшийся в его отсутствие до шапки Мономаха боярин Борис Годунов напугал весь народ явлением голода на Руси да взял и помер в одночасье, как удрал обратно во тьму от всякой вины перед Русью.

В то чрезвычайное время едва ли не каждый, проснувшись поутру, вдруг начинал мучительно задумываться: а вдруг я вовсе не тот, кто есть, каким себя знаю, каким, помнится, мать меня родила, а некто вовсе другой, званием куда выше. Иные начинали искать на себе, на своем теле вместо оспин и вшей некие важные, тайные знаки, указующие на княжескую и даже на царскую кровь. Ходили на озера и реки, присматривались к своим отражениям, вертелись так и сяк и щупали свои тела, будто сомневаясь в их собственности... А вот это, на оборотной стороне плеча, не корона ли какая-нибудь?.. А под левым соском не похожа ли родинка даже на головастую царскую державу, какой описывал ее проезжий московский гость. А ведь сказывают деды, будто сам царь Иван Васильич тоже проезжал мимо, так всякое могло стрястись-то, а мать померла да скрыла тайну.

Как никогда много объявилось по дорогам странников, феней с их неведомым для всех наречием и каликов перехожих. Появлялись дрожащими черными точками вдали, а уже вблизи обретали вид человеческий, простой и рассказывали одно и то же, будто выученное всеми ими в одном неизвестном, тайном месте: отроком спасся истинный-то, Божий помазанник, царь Дмитрий Иванович от злодеев-убийц, скрылся и явился, а вскоре благодетельствует Русь. И собирает он, кличет силы со всей Руси – выбить из Москвы бояр-воров, захвативших его державу и скипетр. А тех, кто придет к нему, к истинному царю и великому князю, всех из холопов разом возведет в ближних дворян, а все старое дворянство порешит за ненужностью как изменников.

Расходились в словах странники лишь в том, в какой стороне объявился, явил себя народу истинный царь, с какой стороны ветра пойдет он на Москву, однако ж любому такому сказу-слуху мужики верили тотчас, без оговорок, – лукавая надежда на вселенское счастье с настоящего царского плеча колом запирала им разум, – и еще по весне сомневались сугубо, стоит ли сеять, дабы к осени уж не думать-болеть о сборе урожая, а знать при царе лишь свое дворянское достоинство.

Да и не важно было, в которой стороне забрезжит на окоёме истинный царь. Русь для русского беспредельна. Есть где укрыться, хоть и от чёрта, если шибко захотеть и если Бог на

то сподобит. То, бают, у немцев, царства с птичий коготок. Встанешь с утра, обернёшься – и все плетни уже видны те, за кои только ногу перекинь, как отсекут ее стражи иного короля – не лезь к нам, своих ртов хватает с лишком! На Руси не так – широка Русь, окоёмы ее темны от далей, предел только Богу с небес и виден. Вот во тьме далей и таится всегда какой-нибудь истинный царь!

Иные и вправду вопрошали в бане своих жён:

– А вот глянь, не царский ли знак на мне?

– Сдурел ли? – содрогнувшись грудями, вопрошала в ответ женщина и крестилась по волглому телу.

Которые и уговонялись, а иные тотчас отвечали на женин вопрос кулаком и после бани шли к друзьям:

– А гля-ка, Ванька, не царский ли знак на мне?

И горе миру, ежели один Ванька, всем своим умом приглядевшийся, чесал макушку и смелел предполагать:

– А может, и так...

Вот тогда, в тот же миг, бесовский огонь охватывал разом и остальных, весь мир – и уже к вечеру в селе все косы бывали выправлены из добрых хозяйственных в боевые, а рожь на полях начинала клонить зеленую верхушку, едва показавшись из земли.

И вот уже вместо странников, появлявшихся вдали не больше черных мушек в глазу и подходивших медленно, стали приноситься, прямо падать на головы мужиков настоящие царские глашатаи на тёмных мастей аргамаках – уже не со сказами, а с указами идти на помощь государю, царю и великому князю Дмитрею Ивановичу. А в указах тех, печатями скрепленных, киноварью горели предвозвещённые странниками, а писаны были царской рукою обещания дать полную волю и дворянство всем, кто придёт.

И страшные, неизмеримые силы тотчас вливались в жилы мужиков, и забывали тотчас мужики о всяких пределах жизни, обо всех извечных, с детства пестованных матерями и бабками страхах, что уже за околицей и за межами, а тем паче за первым дорожным крестцом поджидают всякого селянина опасности великие и бесы. Теперь все опасности были нипочем тем, кому бесы уже в заплечные котомки сели!

Радовались мужики своей дальновидности и удали, радовались правленным загодя косам, радовались новой своей воле, брали спрямлённые косы в руки и сбивались в ветер-толпу, тотчас отбиваясь от родной земли. И тотчас на том месте переставала быть Русь, а становилась одна поляная кромешность.

Когда великая река губительно выходит из своих берегов, заливая просторы до окоёмов, что с ней происходит? Остаётся одно название, не определяемое ни порядком земли, ни взором. Где-то вместо реки – безбрежные озёра с водоворотами, где-то – бескрайнее топкое болото... и на утлых островках жмётся последняя уцелевшая живность, не зная, где искать истинное спасение, а не краткую передышку пред гибелью, водной или попросту голодной... А река-то где? Ее нет! Вместо нее – кромешность!

Так было в тот век с Русью.

Веря указам брезжившего в слухах свежего царя-Дмитрея, потянулись со всех сторон, особенно – с южной и плодородной, толпы мужиков с правленными косами к главному водовороту, к Москве, куда уже раньше, напуганные тенью Болотникова да бесов-аггелов его, да бунтами челяди, набились до отказа со своими женками и дочками, побросав имена, их же господа.

По дорогам бывало вот что. Отбившись от своей земли, мужики тотчас ударялись в разбой. Грабя иные села, послабее, наливались все большей дьявольской силой. Тщась грабить голодного страха ради иные села, покрепче, сами бывали биты и затоптаны в чернозем тамошними мужиками, вовсе не думавшими выправлять косы, а своим умом державшимися. Резня с

кровью – не мужицкое дело, потому и затапывали в землю без всякой жалости чужих, безумных и окаянных живьем да с хрустом грудных костей. Мужик не жалостлив... А в иных селах одержимые сливались в одну силу с уже готовыми идти к Москве, да еще мешкавшими. Тогда шайка обращалась в малую пешую орду, а уж коли по пути обрастала боевыми холопами, прогнанными за голодом с хозяйских дворов, то и малая орда обращалась в сущих гуннов, в гогов и магогов... Тогда поток срывал по пути брошенные усадьбы, как вспучившаяся река – кусты и вётлы. И горе барам, не успевшим унести ноги, а большее горе – их жёнам, кормившим сосцами в те дни.

Открывалась на месте Руси кромешность – и сразу потянулись в неё силы пестропёрых разгульных агтелов – и со всех степей, ногайских да прочих, и из Речи Посполитой. Те магнаты ляшские и литовские, коим круль Сигизмунд-Жигимонт на его же земле был окаянным старостой с розгами, почуяли, где отвести одержимую душу, не страшась немедленного разгрома и плахи... Им не нужна была никакая власть и никакая родина. Их грёзой, их целью была великая, богатая ярмарка, на которой можно наотмашь погулять да её же, ярмарку, и разбить великим погромом себе на потеху. Такой ярмаркой они увидели Русь. Рожинский, Лисовский, Сапега и прочие душой и силой неприкаянные.

Прорвались меха и Сечи – и потянулись на север орды запорожцев, и десять, и двадцать тысяч сабель потекло тех, коих на Великой Руси знали – страшным, чужим, в бесерменских шальварах-пузырях чубатым племенем, как и бесы – без баб. Племенем, чьей лютости дивились даже татары, оставлявшие себе хоть пленных ясырей на продажу. Запорожцы оставляли за собой только покрытую жжёной кровяной коростою землю и подкопчённое небо... В Речи Посполитой, под коей и Сечь себе же на потеху тоской томила, был для них удерживающий. А на Руси – уже не предвиделось.

Сама же Русь разделилась в себе и разлилась кромешностью меж двух царей, каждый из коих был для всех, их в лицо знавших, не то чтобы царем, а временной, но необходимой болванкой, как та же булава для Сечи, для ее кошевых и гетманов. Был недоразумением, ряженым на ярмарке, коему и неизбежная судьба – быть битым под конец ярмарочного дня. У Фили пили – Филю же и били... такими и были в тот год начала века оба царя на Руси, и вокруг них кипела безумная гульба.

Два царя сидели друг напротив друга, немногим больше чем на пушечный выстрел. Были они не схожи ничем – ни происхождением, ни ликом, однако ж получались по положению как бы близнецами, спорившими за одно, утвержденное лишь одному из них место бытия. А близнецы издревле вызывали удивление и опаску даже у матери своей. Как же это Бог сотворил двух одинаковых на одно и то же место? Близнецы олицетворяли собой царство, разделившееся в себе, – меж ними стояла невидимая щель бытия до самой преисподней... Издревле боялись люди вставать меж близнецами, а ныне пёрли напрямиком в ту адову щель.

Один царь, вновь кликнувший самого себя до самой смерти воскресшим и явившимся государём и великим князем Димитрием Ивановичем, сидел ещё за пределами града московского, в Тушине, и пока не в силах был одолеть себе стольный град, казавшийся ему буреломом. Поверила ради хмельной радости в его новое явление уже вся главная, не видевшая его вблизи Русь. Иным словом, вся Русь, кроме Москвы. Ладно, перекаатиполе-ярославцы, шибкие в торговых делах, легкие на отход! Но и крепкие собой и градом своим, любившие строй и порядок, лучшие каменщики на Руси, костромичи, и те издали, сквозь туман и тьму, целовали крест тому, кто, может, только для виду его держал, сам будучи нехристом!

Радовался явившийся сам по себе Дмитрий Иванович, и радовались присные его бесы-агтелы, радовались державшие его болванкой-булавою ляшские гетманы-магнаты, радовались они вестям, приходившим быстрее новых сил. А силы подданства, с ними же и деньги пёрли к царю Дмитрею со всей Руси.



А в Москве, как медведь в берлоге, заваленной в ураган буреломом, сидел другой царь и великий князь, один Шуйский из прочих Шуйских – избранный наспех и посаженный наудачу, а не посланный Богом на Русь, как некогда славный Рюрик из великих тёмных далей, а потому Шуйский-царь ни чем не крепкий. Пусть сам из Рюриковичей, да с отшиба, с суздальской ветки яблоко, не с московского ствола-верхушки. Посему для жителей московских и людей ратных Шуйский был недоцарем, но, уже раз обжегшись на одном самозванце, не спешили верить вновь явившемуся Дмитриею Ивановичу и за тем на всякий случай выкидывали со стен и с посадов нестройное того казацкое да ляшское войско, когда оно, опохмелившись в Тушине, вновь ударилось в посадки, тыны, стены и ворота.

Москвичи годили верить. Они ждали. Чего ждали? Хоть бы и знамения! Вот же посадили Бориску на царство – и пришёл на всю Русь голод. Знамо дело, Господь указал, как опростоволосились православные. Вот явился вдруг в первый раз целый, невредимый и возросший в борова своим видом Дмитрий Иванович, коего в Угличе помнили тростинкою нежной. Пришёл на Москву. Сел. Глада не было, зато с ним поляцкая гусарская шляхта истинно египетским наказанием, перистою саранчой да скнипами, на Москву пала. Чем не знамение? Да и Маринку-католичку самозванец в жёны брал в Успенском без причастия. Ясное дело, оборотень и пришёл под видом царя! Придавили и разметали его прах из пушки, чтобы черти вовек не собрали и не прислали вновь его же... А позже-то открылось, что был он беглым чернецом. А новый-то кто? Тянутся-то слухи из Тушина, что и вовсе жидок он чернокудрый, лихо покрашенный да ряженный, и даже во хмелю не раз себя новым Иисусом Навином величал. Да и с Шуйским не ясно, туманы и враны стоят над Кремлём. Одним словом, надо ждать. Ударит мраз или мор, тогда Шуйского долой – и, приняв на время хоть и Дмитрия нового, подождать и новой же настоящей беды – как уж Бог укажет, тогда и прояснится. Москва умеет ждать да ловка принять беду.

Да и сам Шуйский из Шуйских сидел сиднем и страдал тем, что шапка Мономаха ему на самые очи напоззает, и ничего не видно – маловата голова. Больше не на себя, а на свою широкую братову надеялся: не дадут порвать в мясные лоскуты. Да еще – на крепкое слово святейшего, патриарха Ермогена. Тот грозил анафемой всем, для кого Шуйский – не царь.

Бояр Шуйский угощал широкой раздачей не ощутимых им вотчин – и те знали теперь, за что постоять: ляхи все и щупанное, и нещупанное отымут да и самих порубят, а Шуйский – не Иван Васильич и даже не царь Бориска, у него сил отнять потом обратно не станет, а позарится – так другого царя, как ляхи у себя в Речи, посадить можно. Потому и выбивали тушинцев, надеясь, что те сами вот-вот да и порвут во хмелю своего жидка, устав пред ним скоромошничать.

Одно нынче у Шуйского получалось дельно. В неделю раз подкатывал к его палатам затосковавший народ московский, подкатывали съезжие, истинно прибежные дворяне, жаловались на скупую жизнь, на жадную злобу житопродавцев. Слезно уверял царь, что собираются и уже идут к Москве полки верных ему князей. Молил потерпеть ещё, подождать немного, недели три всего, ну, никак не месяц. На колени грузно припадал тот, кто еще недавно прославил себя победами на поле брани. Теперь он даже, бывало, распластывался перед градскими и посадскими на камнях покаянным крестом... Какие войска? Откуда? Ничему не верили москвичи, а такому царскому представлению верили тотчас и, гордые тем, что снова поглядели на распростёртого царя сверху вниз, расходились по домам, себя куда выше своего истинного значения почитая. Особенно ублажались прибежные дворяне: живи они тихими временами в своих усадьбах по окоёмам земель – нипочём не видать им сего чуда!

Услаждённый тем зрелищем, шёл домой и один московский купец. Жалоб к царю не имел. А что жаловаться, коли сам же криком да сытой силою московского купечества сажал Шуйского на Великий Стол? Да и неделю за неделей смута созидала его главным богачом на Москве. Он не был житопродавцем, потому зримо не страдал от его выгод народ. Раз в неделю

гонял он в Тушино возы мимо всех застав и стражей, серебром соря им в глаза. Радовался он своей прозорливости, что порохов умно запас и теперь сплавляет десяторицею. Зелья другого, не порохового, а целебного, им тоже возил от московских жидов – для ран и порченных животных. Сам зажимал нос на въезде в Тушинский стан. Назад вез из Тушина, от татар, вяленое мясо, конину тож, и втридорога сваливал в запас, на остатошный в погребах лёд тем небедным прозорливцам, кои ждали пережить знатный голод, когда цари окончательно на взаимный измор понадеются... Да разве только он один гонял возы!

На большую часть барыша купец переманил с царского двора сотню наёмных немецких пищальников, совсем заскучавших ждать государево жалование. С теми рослыми молодцами и городец какой не слишком великий играючи бы взять. Не столько для стражи амбаров и закромов держал, сколько – на ту беду, ежели бедовые ляхи с козаками осият-таки Москву и в разумение его, купца, заслуги пред ними не возьмут. Тогда с сотней тех мушкетёров пробиться из Москвы и уйти на Ярославль, к родному брату, а там отсидеться до тишины. А уж золото своё купец так прикопал, что копать триста лет, пока до него докопаешься (так потом и случилось)!

Вот вернулся он домой с царской потехи и решил дальше потешить себя – доброй трапезой. Была у него особая единоличная трапезная с чудом света – веницейским зеркалом в рост человеческий и чистотой такою, что вошь из дальнего угла на себе в том зеркале узреть не труд. В цену того зеркала целая вотчина утонула! Зерцало стояло на другой стороне стола – и купец зрел в его потусторонней кромешности единственного себе достойного сотрапезника.

Прочёл купец молитву, перекрестился на иконы и повернулся трапезовать. И вдруг нечаянно да вроде шутя и спрашивает того, кто за столом перед ним в зеркале:

– А ты-то, братец, не боярином ли в Тушине ужо, пока тут передо мной Шуйский скороморшничал?

Вгляделся с прищуром купец в своё отражение и внезапно похолодел от чрезвычайной мысли: «А может, он и есть настоящий? А вовсе не я». Поперхнулся ботвиньей купец, веки опустил и стал молиться, едва языком во рту шевеля: «Свят, свят, свят...» И решил, что пора бы ему благословиться у самого патриарха. Только к какому идти?

Теперь их тоже было два – патриархов Московских и всея Руси. Дмитрий Иванович в Тушине уже успел подпереться своим. Взяли казаки-донцы в полон на Ростове воеводу да митрополита. Воеводу – в расход, а митрополита сберегли. Из знатных бояр был митрополит Филарет, из Романовых. Вот ему царь и великий князь Дмитрий Иванович и сделал царское предложение: главой или в Москву-реку, или – в патриаршую куколь. А уже и побывал Романов в той куколи, да недолго, пока Шуйский ее не смахнул да и прогнал в Ростов. Теперь обиду легко было тяжкой неволей утолить.

Разумел купец, что у Романова будет ему легкое благословение, а Ермоген, суровым пророком прослав уж, как бы не прозрел его фокусы купеческие да вместо благословения как бы анафемой не ошеломил, а там и плаха перед глазами купца встала вместо зеркала: а у тела падла глаз нет, чтобы после в очи отрубленной голове поглядеть, как в последнее зеркало...

– Однако ж и заслуга есть, слышь, братец, – обратился купец к зеркалу, как бы разделившись сам в себе. – Кто полтысячи посадских пищальями снабдил и осадных мест по стене на полверсты держит? Считаю, до четверти обороны на мне же... Вон и Пожарский-князь похвалил. Таково-то перевесит. На барыш тушинский я тут еще тыщу снаряжу, другую. Чего щуришься-то?

И тотчас нашел виновного в своем разделении умный купец.

– Эх, зря ты баловал с царёвой властью, государь ты наш грозный, Иван Василич, – обратился он уж чуток мимо зеркала, в темную стену. – Ведь от тебя корень смуты и пошёл, когда ты в Александровке в черноту иноческую облачился да ещё и татарина вместо себя болванчиком на престол усадил. Слыхал, что фряги тебя надоумили против Масленицы свою фряжскую

карневалу затеять. Мол, у них тоже государи рядятся иноками на карневалу ради любви холопской против князей, престолу опасных... Так что ж ты карневалу ту из забавы в закон возвел? Кого нам за царя было считать тогда? Сами в себе разорвались-то! Вот и свело нам ум, и доньне отпарить венчиком не справляемся. Недаром старицы баяли, что на полпути от Боровицкого до Александровки царство твоё, Иван Васильевич, расселось и щель до самой преисподней на той меже разверзлась, и бесы из межи-то и полезли. Загони их теперь обратно! Эх!

Однако ж от суда Божьего не скрыться, а патриарх Ермоген оставался для купца и всех жителей Москвы с царём Шуйским во главе единственно истинным печальником и представителем за всю Русь, последним столпом и утверждением дней земных.

Вздыхнул купец и, по русскому обычаю сшибаться с судьбою до искр в очах, решил дойти до Ермогена...

Шуйский же едва ли не ежедневно спешил к Ермогену за благословением и советом. Что говорил ему святейший, коего Шуйский отвлекал от сугубой и непрестанной молитвы в Успенском соборе, никто не знает. Только видели: иной раз выходил Шуйский повеселевшим, и даже полы его царского кафтана взмётывались, точно крылья петуха, встрепенувшегося крикнуть последнюю стражу. Чаще выходил Шуйский сумрачным и потяжелевшим, однако ж и в таком случае – словно налившись новыми силами для терпения и боя.

Какой бы совет или даже выговор ни получал Шуйский от святейшего, чуял царь одних лишь московских стен, что многого недоговаривает суровый старец гробового возраста, и тщился угадать, что же тот прозревает в грядущем – не конец ли всему?

Озабочен был неизвестными прозрениями святейшего патриарха и его келейник, тоже в возрасте немалом, однако любознательный от роду. Познал он на своем горбу суровый нрав святейшего, но всё же как-то вновь не сдержался и потщился что-нибудь тайное выведать у предстоятеля намеком вслух да вскользь на «ряжение Романова». На что удовлетворился советом-указом о чужой судьбе не рядить и к тому в придачу – епитимией, от коей голова у келейника уже гудела, как у звонаря от набата, после ежевечерних трёхсот земных поклонов...

И вот однажды в ночь, после такого набата видит келейник сон. Идёт он по пустому чёрному полю, ни зги не видать: здесь тоже глухая, безлунная и беззвёздная ночь. Спотыкается он на каждом шагу – вроде пахано под ногами поле. Впереди три крохотных огонька мерцают. Подходит к ним келейник и различает во тьме самого святейшего: стоит старец Ермоген перед тускло освещаемыми хлебами благословения и Царскими вратами алтаря. Ворочает головой келейник: а где же храм? Никаких стен вокруг нет и свода над головой нет. Мысль пронзает его: значит, и за вратами, кругом престола и горнего места, тоже никаких стен, а сплошь чёрное, крошечное поле? Да и сами Царские врата удивительны: напоминают-то Святые врата Троицкой Сергиевой обители, а сам иконостас по сторонам от врат – истинно крепостная стена с боевым ходом, заборками поверху...

«Что же здесь?» – вопрошает потерявшийся в своём сне келейник. «Здесь и есть ныне вся Русь!» – вдруг слышит ответ. Да только то не патриарх отвечает, голос не его, а будто – вся тёмная высь над головой. «Где же? Пусто здесь!» – «Истинная Русь и остаётся тогда, когда земным взором уже вовсе не видна, а лишь...» – приходит ему ответ, и тотчас просыпается келейник, так и не услышав что «лишь».

– Что «лишь»? – невольно спросил он явную тьму вокруг.

И, не получив из тишины ответа, занялся монах тяжкой ночной думой о том, с какого плеча был ему тот глас, от ангела знак или же от лукавого насмешка...

## Глава первая. Перед Сечью

Бумх! Бумх! Ухают на сечевом майдане барабаны.

Дзон-н! Дзон-н! А вот уже и литавры не шутя принялись.

Вот-вот полетит душа молодого козака к майдану, просквозит неудержимая плавневую гущу кустов. Плетней и вовсе по пути не заметит, молнией пролетит меж куренями на главный козаку зов...

...Всякий человек мужеского пола, пройдя младенчество – пору безответной радости и удивления всему миру, – вступает в первую свою опасную пору, когда почует, но еще не разумеет, что наделен от Бога даром страшным – волею. И станет он вслепую, на ощупь испытывать тот дар, еще не ведая ему верного применения. В ту отроческую пору, в особые её часы, послушание отцу держится разве что страхом порки, а послушание матери – если и не страхом пред ее грозным словом или широкой ладонью, то душевной жалостью, какую всякий добрый сын к своей матери крепится во веки вечные.

Тогда отрок впервые, и ещё без оглядки на заповеди Божии, испытывает добро и зло, что есть что. Как испытывает? А на излом! Тогда яблоки в чужом саду становятся вкуснее своих. Тогда порой разоряются самого разорения ради птички гнёзда, топятя ударом камня лягушки в пруду, вбиваются окрепшей пяткой в землю красивые бабочки, достается всем созданиям Божиим, всем братьям нашим меньшим, кои за себя постоять не могут. Первые драки тоже порой бывают с применением самой невинной подлости и коварства. И в самые те жестокие мгновения чует отрок, что воле его нет никакого предела, никакого окорота. Словно Господь попускает лукавому так искусить человека, пришедшего в мир, лежащий во зле, чтобы потом он всю жизнь ощущал в самой глубокой глубине сердца то саднящее жжение первородного зла и Каинова греха и никогда не забывал его.

Бывают отроки, какие и мухи не тронут. Которые и плачут при виде всяких малых зверств. Таких сверстники не любят. Но такие от роду избраны свыше. Не самой ли Богородицею?.. Такие становятся праведниками, а то и святыми, и потом монастырские созидатели их житий станут писать, что они младенцами матерного молока по средам и пятницам не вкушали. Может, так оно и бывало, только никакая благочестивая мать – а таких от младенства святых рожали только благочестивые матери – хвалиться тем ни перед кем не станет.

Потом ещё немного подрастёт отрок – и своим проказам и озорству начнёт, порой также невольно, душою противовес искать.

...Ну а после совершеннолетия и до конца жизни будет муж с особой теплотой вспоминать ту пору проказ и порой жестокого озорства, когда волю не требовалось в узде держать и летала она, как жеребенок дикой степной кобылицы.

Да ведь и был в Украине чудесный способ остаться на всю жизнь в той вольной поре! Копить опыт, умения, ремёсла, копить силу руки, наделённой уже не хворостиной против гусей, а пикой и саблей острой против врагов, наконец – даже седину в ус и чуб копить, а всё равно – остаться на всю жизнь бедовым подростком, главное богатство коего – ничем и никем, разве лишь приказом атамана, не сдерживаемая воля. Да и вот – молоко материнной груди променять на горилку, коя тоже возвращает всякого человека при её питии, сравнимом с количеством материнского молока, в состояние не видящего кругом никаких препятствий и бед младенца... только теперь уж – младенца, наделённого от отцовских кровей буйною силою, способной разнести кругом любые препятствия, окажись таковым препятствием хоть и шинок, хоть и тын, хоть целый город. Чудесный способ прост и доступен был едва не каждому – иди на Сечь!

Иди на Сечь, где мать своим скорбным окликом уже не достанет, да и плетка отцовская – тож...

Иди на Сечь! Там-то яблоки из чужого сада чудесно обратятся в басурманские торговые галеры с добром турецким, а за их грабёж старшие не высекут, а только похвалят.

Да и какой отрок не грезил в Украине о Сечи... и никогда уж не отмахивался от той мечты до самой смерти, коли на Сечи всё же не удалось погулять. Какой киевский бурсак не заглядывался в окна, желая упорхнуть птицей и долететь до самой Сечи, и заглядывался надолго, не страшась розог! Да, немало и удалых ляхов, шляхтичей даже гербовых, гредило в своих усадьбах и в замках о том же: «Ach, cudownie byłoby pohulać na Siczy!»<sup>2</sup> А иные, самые-то удалые, ляхи и достигали Сечи, не страшась руськой холопской силы, отбившейся от всякой власти и всякого окорота, и удалью своей достигали даже булавы кошевого, получая её в крепкую руку от сечевого товарищества! Вспомнить того же Самека Зборовского, ляха от ляхов, магната от магнатов, ставшего запорожским кошевым и развернувшимся в том высоком чине-звании!

Спроси любую мать в Украине, рожала ли она своего сына на Сечь и Сечи ради. Перекрестится, верно, всякая мать: «Упаси, Христос и Пресвятая Богородица!»... И коли сын уходил на Сечь, как на смерть его провожала.

Да и к смерти сечевик в любом возрасте относился почти так же, как относится к ней отрок, не ведающий никакой истинной, божеской ценности жизни, как и ценности дорогого бриллианта знать не может... не ведает, на что, на какие истинные радости, а не один только разгул воли можно и стоит потратить жизнь. Он жил товариществом, что согревало и вываривало его душу, как кипящий котел – кусок мяса. Он жил живой природой, бескрайне клокочущей вокруг и не умирающей, даже если изводить в ней ежечасно в еду и просто в забаву тысячи тысяч живых существ. Он увлекался близостью гибели, он жил опасностью, готовой, наконец, освободить его душу от тела, кое казалось последним силком для воли. Одним отличался опытный сечевик – тем, что повидал смерть в самых разных ее плясках и лишился многих товарищей, а потому умел встать душой неподвижно прямо перед безднами-глазницами смерти, перед ее оскалом и тогда – последним вдохом равнодушно вобрать в себя ее холод.

Потому-то и без бабьей ласки сечевик обходился порой даже легче монастырского насельника, коего враг сугубо искушает похотью плоти и похотью очес... Отроку, еще не входящему в пору юности, нацеленной на плотскую любовь, девчонки-сверстницы любопытны, как особые зверушки, только напоминающие о чём-то будущем и жарком, что издали подобно лишь тихим зарницам. А если то жаркое и будущее вдруг и закипит враз ниже пупка, то, выкипев живо, и утихнет не на день... Любопытны отроку девчонки, да самое лучшее пока – в них колмыжку не слишком твёрдую кинуть, на бегу за косу дёрнуть, а самое милое дело – как-нибудь напугать до визгу и шумного утёку врассыпную... Только в наступившем для козака будущем, на войне и в походе, сносило волю сечевиков в бешеную одержимость плоти, и то давнее отроческое озорство всплывало уж зверством и неудержимым насилием над ляшками, валашками, татарками ли, уж кем попадётся, с полным и беспощадным уничтожением их жизни в обозлённых волей руках...

Вот и молодой козак Тарас Палийко, хоть и вышел давно из отроческого возраста, да, попав на Сечь, продолжал мечтать о деде, о панне прекрасной, одним воображением, а не телом. И мечта его не матерела плотью и не злилась в руках. Увлекался он не персями воздушными, как подушки пуховые, не прочими любезными округлостями, не лоном тёмным и горячим, на грех рукоблудия искушающим, а придуманным ликом ангельским, ангельской же походкой, взмахами рук-крыльев лебяжьих, улыбкой, ослепляющей взор, и смехом, оглушающим сердце. Да откуда ж такую взять? Не с соседнего же хутора! Там таких нет как нет! Да и в самом Киеве таких идеалов Тарас не видал. Никуда не деться чересчур мечтательному козаку, каким вырос Тарас: выходила его зазноба-мечта ляшкой-шляхеткой такой невиданной

<sup>2</sup> Ах, чудесно было бы погулять на Сечи (польск.).



красоты, какую и сам круль Речи Посполитой Сигизмунд в своей жизни ещё не видал, а если бы и увидел, то отдал бы за обладание ею всю свою Речь Посполитую или хотя бы половину её...

И не впервой виделось Тарасу, задремавшему в плавневом закутке, будто в тёплом родном жилище, как он вновь и вновь бросается вплавь вместе со своей верной Серкой в бескрайнее море, настигает турецкую галеру, отбивает у нехристей взятую в полон для султанских утех ту знатную и распрекрасную кралю, за сим топит без сожаления всю галеру со всем её добром-золотом, сажает панночку на Серку и живо плывёт к родным берегам, так и держа Серку в поводу. И вот выходит на берег, а ему навстречь – сам круль Сигизмунд-Жигимонт со всеми своими гетьманами, коронным и польным, и всей хоругвью крылатых гусар.

– Вот тебе, пан козак, половина Речи Посполитой со всей Украиной, Вишневетчиной и Острожетчиной, а за это отдавай мне прекрасную панну.

На те слова круля такими словами отвечает Тарас, какие ни на какой бумаге никаким пером, ни гусиным, ни врановым, не напишешь и даже на дорожной пыли – постыдишься оскорбить землю.

А на такие слова Тараса выкатывает круль Сигизмунд всю свою коронную гармату-артиллерию и – бумх! бумх! дзонн! дзонн!

Открыл глаза Тарас – вместо дыма одни заросли. Тьфу, пропасть! Что за сон?!

Зовут литавры и барабаны на раду! Выскочил Тарас из зарослей, стремительной щукой переплыл через рукав реки, птицей-стрижом перелетел через валы, тыны и плетни, стрелой, пущенной из крепкого лука, пронёсся меж куренями да над чубами спешивших на майдан козаков – и вот, самым первым поспел на майдан, а потому и оказался впереди всех ватаг и куреней, кои теперь ему в спину жарким человеческим мясом задышали.

Посмотрел Тарас вверх, на вершину Дома Рады, и удивился – то не дом, а истинно целый замок с бельведером, маячащим в небесах. И вдруг выходит в тот поднебесный бельведер не кошевой, не гетман, а... Боже милостивый! Она сама! Прекрасная панна! Да прямо в подвенечном платье! Волос злат, око бирюзово. Оцепенел козак... Что за пригча!

Опускает панна взор и смотрит с верхотуры прямо на Тараса.

– Добро, Тарасю, – говорит она звонким голосом, – первым ты ко мне поспел... да так поспешал, что скорее своих шальвар достиг! Где же твои шальвары? Гей, панове козаки! – крикнула тут панна зычным гласом кошевого. – Не видали там, где его шальвары вдогон поспешают?

Глянул Тарас не вверх, а вниз – а там пропасть и погибель! И правда, нет на нем его шаровар небесной синевы! И не только шаровар, но и сапог алых с серебряными подковками, и пояса тоже нет.

Тут как грохнет позади него смехом весь великий козачий кош! Бам-м!

Подскочил Тарас на ноги – обожгло ему всё лицо ветками едва пролазного кустарника. Уже вскочив, продрал глаза, провёл рукой по засаднившим щекам, увидел кровь на пальцах. Вот теперь уж точно явь, а не сон дурной – во сне настоящей крови с лица не возьмёшь!

Бумх, бумх! Дзонн-дзонн! ухали и звенели барабаны и литавры в отдалении, на сечевом майдане.

«Вот бес! Весь покалипсис проспал!» – воскликнул про себя Тарас, раздвигая сплетения веток.

А взрыв козачьего смеха во сне, догадался он, – то наяву был гулкий, на весь Великий Луг, клик пушки, созывавший на майдан и тех, коих только пушкой и добудишься.

Да уж оправдание себе есть: три дня и три ночи, глаз не сомкнув, по приказу куренного атамана искал-выслеживал белого лиса – прямо-таки всего от кончика носа до кончика хвоста белого, – коего атаман приметил в плавнях то ли наяву, то ли во сне, то ли во хмелю, но сам не догнал. Одна радость – ведь понадеялся атаман только на его, Тараса, сноровку.

Выскочил Тарас из кустов, кликнул Серку. Явилась его маленькая резвая лошадка, как из-под земли. Тотчас же оба кинулись в реку наперегонки – в сторону далекого хора литавр и барабанов.

Устремился Тарас не стрижом, как во сне, а помедленней немного, потому можно успеть кое-что рассказать о его жизни.

Тарас был последышем в семье знаменитого на весь Великий Луг могильного козака Гната Палийки, то есть козака сторожевого, который на древних курганах-могилах зорко блюдет земные просторы и движение крымской татарвы за самими окоёмами прозревает. Палийкой стал весь козацкий род с того дня, когда один из предков, заметив вдали татарскую орду да под рукой просмоленных бочек не имея, запалил на своём хуторе сарай, чтобы Сечь предупредить... да и весь хутор его в тот сигнал да в небеса тогда и ушёл полымем, треском и дымовым столпом. Роста Гнат был невеликого, вот как и сынок его, Тарас, потому и стал Палийкой, а не грозным Палием...

Гнат же ныне имел свой большой хутор, немало родовы и был записан козаком уж реестровым, не вольным, ибо искони любил порядок, а не разгул. Потому и женился – и после женитьбы уже не так часто стал бывать на высоком кургане-могиле, поделив смены со своим двоюродным братом. Однако ж низовые уважали его – не раз он татарские набеги вовремя предупреждал, умея не сомкнуть глаз неделями, да и чуткостью, зоркостью ока мало кто мог сравниться с ним.

А чьё уважение для козака-могильника ценнее всего? В первую голову – сечевиков. А Гната сам славный кошевой Петро Конашевич Сагадачный знал и мёд его отведывал. Сечевики не раз сманивали Гната – особенно, когда ещё не женат был – вовсе уйти к ним: «Тебе ж, Гнат, до своего хутора дольше, чем до Сичи, скакать да переплывать». И то была истинная правда!

А потом – женатого – уже шутя, но со смыслом: «Ты ж наш давно. Как степной жеребец, а всё в ясли глазом косишь... Ты ж, Гнат, считай, только с Рождества да до Пасхи при ж...е жёнки греешься... Тебя ж «козаком-зимовником» уж никак не оскорбишь... весь в нашу стать – и глазом, и махом, и живой коркой с макушки до пят». И то была правда!

«Так всю жизнь фитилем прокадишь, а главной гарматой не вдаришь! – смеялись низовые и тыкали Гната в уд, но издали: – А этим-то самопалом всяк стрелять может, славы той пальбою не обрести». А вот в этих насмешках Гнат всей правды не видел.

Потому как любил свой хутор. Любил женку свою, красавицу, что уже принесла крепких сыновей-погодов, а потом, спустя, правда, пять годков, и третьего – Тараса. И – табун свой. И – улы свои.

И не признавался Гнат сечевикам, что люб ему свой порядок, а не их удаль-гультияство. Любо то, что он и свой хутор родной, и вроде как всю Сечь к хутору в придачу стережет на кургане по праву и долгу наследства. Уж как ни глумились сечевики над тем, что Гнат – козак реестровый, то бишь записанный в присягу крулю посполитному, а он им смиренно прощал. По-хозяйски дорог был ему и договор с самим крулем Сигизмундом, бес его унеси. Хоть и знал Гнат, что не убережёт его, козака, никакой договор против дури старшины-шляхтича или какого ляха повыше старшины, однако ж ближайшие по округе шляхтичи-старшины знали-ценили его мёд, и даже коронный комиссар проездом его мёд запомнил, махнул алыми перьями на шапке и велел слать в его имение... Вот и думал Гнат, что такое «добро» от самого коронного комиссара посильнее реестровой хартии станется. А ещё думал Гнат, что и для всей Украины, а заодно и – для круля, уж чёт с ним, какой есть, он, Гнат Палийко, здесь, на высоком кургане, полезнее, нежели в тесном реестровом призыве, а потому оставят его, козака Гната Палийку, навсегда «фитилём» на верхотуре и при сторожевой гармате.

Уважение свое к козаку-могильнику утверждали сечевики не только словом и добрым слухом за глаза, но и вещественно, а именно: дымил Гнат вволю таким тютюном, какой и сам кошевой лишь по праздникам в свой нос смакует. Был то не махорный самосад-«самсун», сеянный в низовых пределах, а истинно турецкий смолистый «йениче» или «драма», коими турки, как самыми дорогими перцами, торгуют до самых шпанских земель. Привозили сечевики Гнату тютюн, взятый с бою – с караванов и торговых галер: «Остри взор, Гнат, крепче!»

«Чем ночь крепче, тем у меня глаз крепче и вострее!», – не хвалясь, отвечал Гнат...

И вот однажды Гнат вернулся домой со своего кургана-могилы точно на другой день после того, как жена ему третьего сына принесла.

– Гнату, радуйся! Али ты сыну не рад? – Так виновница радости вопрошала мужа, когда тот домчался до хаты. – Что глядишь на сына, как на неведому зверуху? Что с бровями-то у тебя? Или в них по два пуда весу стало, поднять не можешь?

Жена измождённо шутила невесомым после родов дыханием. Не могла верить, что супруг не рад третьему сыну, что вышел из её утробы куда легче и проворней первых двух, не томил мать тяжкими потугами.

– Рад, рад я... – заведённо отвечал Гнат, тщаь приподнять повыше свои отяжелевшие думами брови. – Как не рад! И больше рад, что ты теперь жива. А брови – так с дюжину дней не спалось, вот и затяжелело чуток, – соврал Гнат, ведь в минувшую неделю не пропустил он ни одного из положенных степному сторожу послепопуденных часов сна.

– Ты глянь, сын у тебя прямо светится небывало, – первый раз за минувшие с родов часы повела пустою, без младенца, рукою жена Гната. – Недаром на рассвете к свету божиему потянулся.

Действительно, младенец был необычайно светел кожей и будто освещал собою всю хату. И не орал нимало. Про то мать его особо сказала:

– Он у тебя и не закричал, а сразу смеяться на божьем свете начал.

И продолжала, чая разогнать тревожившие её тени на лице мужа:

– Сразу ручками замахал и, дай волю, чуть на ножки свои малые не встал. Уж испугалась, не побежит ли зараз из хаты, как перепел из яйца. Веселый будет, шустрый. Имя-то, пока спешил, думал для дитяти?

– А Тарасом назовём, – само вдруг вырвалось из души Гната.

– Отчего ж Тарасом? – спросила жена.

– А то древнее имя, как слышано, и означает «бурливый» да «неугомонный», – наскоро объяснил Гнат.

– Так тому и быть, Гнацю, по-твоему, – легко да глубоко вздохнула жена. – Попу сам втолкуешь как надо.

А святой день, когда крестили младенца, как раз и выпал на мученика Тарасия.

А на другое после Святого Крещения утро Гнат подсупонился, будто в поход с воинством выступать, а выступил дома перед женой и сыном Тарасом. И сказал он речь краткую – опять же, будто не пред супругой в хате, а на самой раде козацкой пред товариществом – голосом крепким, зычным:

– А вот так. А нынче, Оксано моя, повезу я своего сына Тараску на могилу да ночью покажу ему всё, что видно с нее по всей земле Божией, как и положено видеть то могильному козаку.

Открыла рот жена Гната, а только потом всмотрелась в мужа. И сказала:

– Да ты, Гнацю...

И замолкла, не сказав ни единого ссорного слова вроде «с глузду зыхав». А помолчав, только добавила едва слышно:

– Застудишь дитя...

– Не застужу. Овчину возьму, не голым, чай, положу. И соску возьму, ты отцеди только, – даже разговорился Гнат вослед своему решению, видя чудесное смирение супруги.

– Что ж ни Андрия, ни Ивана не брал во дни их младенства? – стала невольно вдумываться жена Гната, надеясь, что муж о чём-нибудь да проговорится. – А только одному Тарасу честь?

– А... – хотел было сказать Гнат: «А видение мне чудесное было», но осёкся, кабы и вовсе не задумалась жена. – А вот вижу, что он так шустр, что братьёв во всем живо перегонит. Вижу: дар у него всему нашему роду со мною вкупе на зависть. А чутьё и подсказало мне: нынче и нужно ему взор открыть, чтобы зрел его взор раньше и крепче, раз он бегать по земле рано начнёт.

Больше ничего не сказала и не захотела узнать жена Гната, видя, что, теперь чем больше мужа расспрашивать, тем больше он придуманного говорить станет, а тогда уж и вовсе ни сейчас, ни погода правды от него не узнать... Но о чём-то смутно догадывалась, а потому первым делом подумала разумно, а не накурился ли её муж тютюна с донником у себя на могиле и не поблазнилось ли ему что.

Всякое бывало с табаками.

Приходилось иной раз Гнату сухие кровяные сгустки выковыривать из трофейного тютюна – бой есть бой, кровь на всё летит, горячей росой на всём оседает. Убедился Гнат и жену разом убедил: с басурманской кровью курить никак невозможно. С тех пор убедился, как набил люльку без догляду, а потом ночами во сне страшно, с клёкотом, ругался по-турецки. Женку напугал до полусмерти, когда при ней в ночи заверещал. Очнувшись, она решила, что опоили её зельем и в полон к туркам уволокли – чуть об стену хаты не убилась, шарахнувшись с постели...

Свозил Гнат последыша на курган-могилу на всю ночь, а потом вернулся в смутном недоумении. Жена вздохнула с облегчением, вновь прозрев: ничего на сей раз не привиделось её мужу.

Однако с тех пор во взоре Гната на последыша так и таилась какая-то ночная загадка, о коей он так ничего своим не поведал.

И пока жив был Гнат, так он за своим последышем ходил, так наблюдал, как и самая беспокойная мать не стала бы.

Старшие сыны, замечая непрестанную опеку отца над последышем, а потом и шибкое того умение грамоте, справедливо возревновали и искали повод пихнуть, а то и поколотить малого. Только тот с самого малолетства рос таким юрким, что легче удравшего подсвинка было ухватить, чем его.

Рос последыш, да не особо вырос. Так и подтягивался потихоньку, оставаясь маленьким, хоть и удаленьким. Малый рост Тараса тоже стал для его братьев искушением дать мимоходом последышу тумака. А третий повод к травле старшими – удивительно светлая кожа и легкий свет волос. «Да лях, что ли, какой тебя нам ночью подкинул!» – как-то не сдержался самый старший, Андрий, и тотчас получил от отца такую оплеуху, что кувыркался до порога.

А еще стал Гнат замечать, что порой последыш его как-то цепенеет и в эти мгновения всё смотрит куда-то вдаль и улыбается. И тут его уж не дозовешься, пока не толкнёшь. «Только бы не падучая...» – как-то вздохнула мать, глядя на замершего посреди двора Тараса.

На вопросы же отца, что он такое увидел, отвечал сын так, что отец вздыхал и не верил: «Та он боривітер далеко дуже красиво летить»<sup>3</sup> или «дикі коні за Дніпром грають»<sup>4</sup>... А до Днепра-то – день скакать! Не верил Гнат.

---

<sup>3</sup> Да вон пустельга вдали очень красиво летит (укр.).

<sup>4</sup> Употребляемый здесь и ниже украинский язык, конечно, осовременен для простоты восприятия. Со строем, стилем и духом языка той эпохи можно познакомиться ближе, читая тексты Григория Сковороды и Василия Григоровича-Барского. Впрочем, то же самое можно сказать и об употребляемом здесь разговорном русском языке. В ту пору оба языка были куда

Но однажды, когда шёл Тарасу седьмой год, нашёл его Гнат на берегу реки полулежащим в траве, травинку жующим и шурящимся куда-то на другую сторону.

– Чего разглядел-то, сынку? – спросил он его.

– Та он павучок красиво і вправно павутину на куші плете<sup>5</sup>, – отвечал своё сын.

Отец пригляделся.

– Да брешешь опять батьке! – осерчал. – Нет никакого куста тут.

И правда, не было кустов между сыном и рекой.

– Так то не здесь, а там вон, на том берегу, тенету плетёт, – указал травинкой Тарас.

Гнат вскинул взор и передёрнулся:

– Брешешь!

– Не брешу, батька, вот те крест! – И, правда, перекрестился малой сын.

– А коли проверю? Тогда высеку?

– А за что, батька? – ничуть не плаксиво удивился сын.

– Ну, гляди у меня! – предупредил Гнат, радуясь, что лодка рядом.

Толкнул он лодку. Сын вскочил подсобить, а заодно и прокатиться с отцом.

– Нет уж, сынку, ты тут сиди, как сидел, – велел Гнат, – пока не позову.

Переплыл он живо на другой берег и кричит оттуда:

– Ну и где твой ткач?

Сын, конечно, уж не сидел, а стоял в рост у воды.

– Да вон же, батьку, отойди малость! – криком указал Тарас.

Не нашел Гнат паука.

– Да не там, батьку! – крикнул Тарас. – Гляди на куст, какой поглубже... Руку подними... да не ту... Вот сунь туда... Мри! Порвёшь тенету!

Замер Гнат и пригляделся туда, куда уже собственная его рука, по указке сына, потянулась. Святые угодники! Точно – паутина! И работник на ней! Похолодел Гнат и подумал: «А может, не та? Наугадку взял!»

– Паук-то какой? – крикнул сыну.

– А малый с крестиком! – прокричал сын, видя из дальней дали то, что отец его едва видел в упор. – Да вот и мушка уж первая попала! Зелёная вся!

Вот то уж точно никак невозможно было угадать!

Перехватило дыхание у Гната, а когда он перевел дух, то сказал сам себе шёпотом, уже страшась, что и шёпот слышит младший сын с другого берега реки:

– Вот оно! Сей мой отпрыск далеко меня превзойдёт. Таких могильных козаков от роду не бывало. – И как будто обратился к кому-то третьему, тут бывшему: – Благодарствую, пане полковнику!

– Батьку, а кто там с тобой, не вижу! – донёсся до него голос младшего сына.

...В семь лет Тарас пригляделся к буковкам старой Псалтири, коей гордился Гнат как семейной реликвией, и по воскресеньям читал её вслух торжественно, даже тогда, когда один оставался.

– Батьку, покажи, как читать, – попросил Тарас, как-то постояв рядом. – Ай, красиво!

Гнат показал все буквы наперечёт. Сын его младший потыкал пальцем в древние страницы – и как начнёт читать, не спотыкаясь, будто учёный уж пономарь! Перекрестился Гнат со словами:

– Слава тебе, Господи! – И снова какого-то таинственного полковника помянул: – И тебе, ваша полковничья милость, за новый дар сынку моему. Уж не знаю, чем и как отплатчу.

---

более близки, чем ныне.

<sup>5</sup> Да вон паучок красиво так да исправно паутину на кусте плетёт (укр.).



А потом и писать Тарас сам научился, запомнив виды и звучание букв. Выходил во двор и чертил прутиком буквы и слова.

Отдал Гнат своего последыша в бурсу с мечтою небывалой. Подумал Гнат: два славных и крепких сына есть у него, такие и землю подымут, и Сечь при случае прославят – старшему в могильные козаки по наследству, среднему – как видно будет, а младшему... да отчего же и Богу не послужить? А может, и епископом стать с такими-то талантами! Всеми роду молитвою дорожку в Царство Небесное проторить.

В бурсе тоже и учителя, и начальствующие приметили белобрысого отрока, способностям его поудивлялись – он и языки древние так живо освоил, что хоть сразу для митрополии готовь с дальней вакансией для высокого сана. Однако ж стали удивляться странной того внезапной рассеянности. Поставь Тараса на часы или же на шестопсалмие перед утреней – четко и бойко начнёт, да вдруг на середине может иной раз туго замереть и онеметь... и глядит тогда уж не в служебник, а куда-то... пока не толкнут, ибо дозваться было невмочь.

– Куда ж ты вперишься опять? – спросит у него служащий в черед священник.

– Так над дзвіницею голуби, як ангели небесні, пурхали – так красиво!<sup>6</sup> – отвечал Тарас, хлопая своими светлыми, как ковылинки, ресницами.

– Какая звонница! Какие голуби! – только всплеснет руками иерей, даже сомлев дать подзатыльник, уже созревший в крепкой его ладони на любой ответ нерадивого отрока. – Откуда ж ты их видал?!

Ставили алтарником – та же беда! Вдруг замрёт – и глядит на престол. «Опять ангелов прикармливают», – ворчит диакон... Или вот со свечою пред Царскими вратами – то же дело: стоит и забудет уйти, будто ему и вправду кто из пророков или праотцев прямо с иконостаса что-то нашёптывает...

Пытались отчитывать, да бросили – ясно было, что чиста душа отрока, светла, как его очи под светлыми, как ковылинки, ресницами, и бесы к нему подступиться не могут. Озорничать Тарас по-бурсацки не любил, базары не обчищал, хотя уж он-то, при его проворстве, коли не замрёт, мог и петелей таскать невозбранно, не страшась, что догонят. Зато читать любил и на колокольню бегать. С товарищами всем, что было, что привозилось из дому, делился без оглядки, подсказывал на уроках так ловко, что слышно было всем, кроме учителей. Бурсаки его не то чтобы не любили, но слегка сторонились, зная, что пакостей с ними не разделит, притом не насмеялись над его причудой и дали затейливое прозвище – «шустроблаженнейший».

Начальник бursы дал вердикт: попом такому не быть и – даже диаконом, такой любой приход с ума сведёт, а благочинному головная боль будет, а то и архиерею; но не трогать, пусть доучится, ибо перспектива видится стать ему из одной трети блаженного – блаженным на все три... и уж не дай бог, если в житии напишут, что бурса притесняла, тогда он, начальник, выйдет на поверку Пилатом Понтийстим.

Отучился Тарас, вернулся домой – и стал целыми днями пропадать в степи и в балках, будто из них, а не из бursы все эти годы не вылезал.

Однажды три дня тягался с боривитер-пустельгою, самой зоркой и терпеливой степной птицей, способной часами не сходить с пустого своего воздушного места-«наседа», высматривая добычу. Пустельга замрёт – и Тарас под ним неподалёку в «замри» играет. Дар позволял ему увидеть мышь или суслика ни мигом позже небесного охотника, а то и раньше – и всякий раз успевал Тарас накрыть шустрого грызуна раньше птицы. Так и довёл пустельгу до голодного изнеможения. А потом сам поймал суслика, слегка придушил его для вялости, привязал к власяной нити и учинил засаду, укрывшись глухой травой. И замер как умел. Так и попал оголодавший боривитер Тарасу в руки. И что же! Тарас накормил его с руки – и отпустил. И

---

<sup>6</sup> Там, над звонницей, голуби, как ангелы небесные, порхали – так красиво! (укр.)

с того часа боривитер стал Тарасу верным другом и спутником. Где Тарас – там ищи в небе пустельгу.

Гнат Палийко и сам кончил жизнь тем, что обгорел насмерть во время страшного в сухую бурю степного пожара – внезапно настиг его стремительный огненный вихрь, крутанул огнем и дальше полетел, оставив жестоко опаленное тело.

...Схоронили сыны-братья своего отца, погоревали в нужную козачью меру, не трогая голосившую мать, а потом просторно вздохнули и широко развели плечи. Добрые были братья, хозяйство им делить не нужно было, оба давно разошлись по своим пристрастиям.

Старший, Андрий, – тот знатным конником и пчельником в едином лице стал. И кони у него по степи роились диким табунам на зависть, и пчёлы роились такими тучами, что хоть против крымских татар сторожевым войском выставляй. Носился Андрий на своём рыжем Сухаре от пасеки до пасеки, приуроченным к особым местам в степи и в плавнях. Дедов-пасечников на улы сажал опытных до колдовства. В медовой науке он превзошёл отца. Мёд Андриев стали называть «атаманским», а самого Андрия низовые прозвали уважительно «гетьманом-зимовником».

Средний, Иван, со старшим только по праздникам и обнимался. Он в такие знатные рыбаки вышел, что его знали уж как «осетров есаула». Повело Ивана на рыбу с отрочества – с того случая, что уж в песни дидовы вошёл про то, «как малый отрок сома-атамана поборо». Было так. Вытащил покойный Гнат здорового сома, вдарил его веслом – и хитрый сом битым прикинулся, примёр якобы. И пока Гнат другим береговым делом занялся, сом возьми да кинься в свою родную стихию. Да не тут-то было! Младший о ту пору сын Гната, Иван, – ростом с сома, коли того на хвост поставить, – кинулся на ушлую рыбину, обхватил её руками и ногами да и мыркнул вместе с ней в Базавлук-то!

Отец, ахнув, кинулся на помощь – да куда там! Канул сын в глубокую сомовую муть. Понырял Гнат, поплескался, покричал благим матом, поругался, что старшего не взял на реку... потом перекрестился, уже стоя по пояс в воде: «Бог дал, Бог и взял».

Вдруг будто отрыгнул близкий затон – и глядь, на карачках выбирается в густые побережные заросли его сын, а одной рукой из последних сил тянет за собой корягу... Кинулся к нему отец, вытянул сына, а тот смерть как тяжёл, водой харкает, а корягу не отпускает... Поскользнулся, повалился на спину Гнат – и вот лежит на нём живой его сын, дышит с клёкотом, а рядом лежит и сом, ещё силась хрупать карягу, на которой зацеплен, как на большом кукане.

– Да как же ты его, сынку? – спросил отец, когда отдышались наконец оба, а сом ослабел жабрами шевелить.

– Не знамо, батько, как, – просипел отрок, ещё не набравшись сил своему подвигу прибаску дать. – Дно щупал – оттолкнуться, когда невмочь станет, а коряжку нашупал – доброе копьё, подумал...

Теперь Иван в плавнях осетров пас и иных растил в силу и стать жеребцов, прежде чем на берег их пригласить.

И вот ныне собрались как-то братья на общую трапезу, что нечасто выдавалось, ибо женатые давно были оба и по делам своим не вместе ходили. Думали младшего дозваться, да поди найди его хоть бы и в ближайших степных просторах... И пришли братья за трапезой к общему верному разумению, что надо младшего полублаженного Тараса на Сечь сплавить: может, там какая польза найдётся его невиданной и ненужной в мирной жизни зоркости; может, старые и мудрые козаки, низовые характера<sup>7</sup> знающие, как-нибудь избавят его от замираний, с родимчиком схожих, разве без судорог... А заодно не будет он более маячить перед хозяйственными братьями искусом не нужной им воли.

Мать уговорить да уломать взялся самый умный, старший Андрий:

---

<sup>7</sup> Характерства – особые козачьи навыки и умения.

– Мамо, сгинет Тараска в степи один. Хоть и шустрый. От одного татарина уйдёт, от другого... Так ведь білявий он у нас – самый дорогой ясырь на невольничьем рынке. На такого целый загон татары учинят не поленятся... А тогда страх один – такого білявого херувимчика тотчас оскопоти – и в султанский дворец, в эвнухи. Тогда, мамо, уж ни слёз твоих, ни молитв не хватит отвести Тараску от мук невиданных. На Сечи Тараске самое место. Ещё удивит всех нас.

Мать поплакала и затихла.

Самого Тараса братьям уговаривать не пришлось:

– Добре, – только и кивнул он. – Кажуть, красиво на Січі.

Славные братья у Тараса, таких ещё поискать надо: собрали молодшему всё самое лучшее, дабы гордо, ярко и ладно понёс он на Сечь достоинство рода Палийко. Дабы издали видно было – богаты и крепки Палийки все, от старшего до последыша.

– Советов тебе давать не будем, – сказал напоследок Тарасу мудрый Андрий. – Степь не хуже нашего знаешь, а на Сечи мы с братом и не живали. Но один совет дам. Горилкой не упиваться не скажу, потому как то говорить тебе, что коню втолковывать сусликов не жевать. Но скажу: помалу все же пей, а то как бы не подумали ватажники, что засланный ты разведывать силу Сечи. От немцев ли каких или же от самого папы римского.

– Добре, – кротно кивнул Тарас.

Споткнулись только на жеребце. Андрий присмотрел из объезженных для брата ладного, крепкого, горячего да мягкоузкого жеребчика прямо глянцевою вороной масти – как в зеркало, ему в круп смотрись!

– Благодарствую, брате, только я к Серке своей присиделся, на ней останусь, – тихо сказал Тарас.

– Тьфу, пропасть! – мотнул чубом Андрий. – Да тебя ж не примут с такой кобылкой на Сечи... Скажут, «на сивой собаке приехал». Не позорь нас!

– Уж всё же лучше я на Серке, – отнюдь не канюча, повторил Тарас.

– Не позорь наш род, брате! – отозвался эхом Андрия с другой стороны Иван.

– Добре! – только и кивнул Тарас.

– Провожать тебя не поедом, а то ещё скажут ватажники, что малого за ручку тащили, от сусликов охраняли, – добавил мудрый Андрий. – Да ты все дороги лучше нашего видишь и знаешь.

Прощались по-братски и по-христиански коротко и крепко. Только мать ещё повисела на сыне тёплой и недолгой обузой, намочив слезами его новый жупан...

Уехал Тарас... А на закате вернулся вороной жеребчик как был, оседланный.

– Тьфу, пропасть! – только и махнул рукой Андрий.

– Может, с Тараской случилось что? – обеспокоился Иван, ещё не ушедший в свои плавни.

Иван, в отличие от мудрого, но не имевшего гибельного опыта старшего брата, знал, что такое кануть и смерти в глаза посмотреть.

Но мудрость старшего брата своё взяла:

– Кабы не улизнал Тараска от засады какой, так и конь бы с богатой уздечкой не вернулся бы. Да и что с Тараской может случиться? А случилось бы – так его боривитер вмиг бы здесь оказался и звал бы теперь на помощь. Всё небо давно бы тут над нами прокикал...

А и вправду, как в воду, смотрел мудрый Андрий, хотя сам в воду смотреть не любил. В ближнем предместье Сечи остановили Тараса два крепких, свежих и трезвых козака, привлечённые необычайным сочетанием в Тараске невзрачного роста с добрым козачьим сбором.

– Экий доблестный херувим на Сечь пожаловал! – заметил один, который повыше. – Откуда ветер принёс тебя?

– Палийко буду, – отвечал Тарас, зная себе место по роду, а не по хутору.

– Так ты младшим братом Гетьману-Зимовнику да Осетров-Есаулу пришёлся, – скумекал второй, пониже, но взором поприщуристей. – То-то ладно собрали...

– Да что же ты на собаке-то приехал на Сечь, а не на добром коне? – снова с подковыркой завернул первый и подмигнул усом товарищу. – Разве уж у братьев доброго коня не нашлось для младшего?

– Жаловаться неможно. Старшой, Андрий, доброго Воронца мне поседлал, да уж больно я к своей Серке присиделся, – доверчиво и кротко рассказал Тарас. – И она без меня никуда.

– Нет уж, – подмигнул и остроглазый товарищу, – возвращайся за Воронцом. На такой мелкой да сивой собаке на Сечь ходу нет, и пустить тебя не сможем. Сквозь нас не проедешь на Сечь.

Посмотрел Тарас кротко на обоих по-своему и тихо сказал:

– А сквозь проезжать не стану, я так перескочу, не побеспокою.

– Как перескочишь? – едва не хором изумились оба.

Поворотил Тарас свою Серку, кою «собакой» обидели, а она тоже, как и ее хозяин, обижаться ни на кого не умела, отъехал-то всего сажень на десяток, развернулся навстречу козакам, дал шенкелей – да как скакнёт на своей любимой Серке через обоих! Задним правым копытом Серка снесла с высокого шапку, побеспокоила всё ж... Да не только через двух козак, как через простой плетень, Серка перескочила, а ещё и через воз, что за ним стоял!

– Ой и сайгак, а не собака! – в придых признал высокий, поднимая с земли шапку.

Вот тот мелкий подвиг стал Тарасу первым пропуском-фирманом на Сечь. Полёт-скок Серки многие видели и вблизи, и издали. Раскатился слух по Сечи скорее, нежели Тарас до куреней доехал. Первым делом поставили Тарасу два воза:

– Перескачешь?

– Можно, – отвечал Тарас и, отъехав подальше, перелетел через два воза.

Стали править третий воз.

– Через три не стану, – тихо предупредил Тарас.

– А ты попробуй, – подзуживали козаки. – За три-то память на век заслужишь.

– Неможно, – кротко, но твёрдо отвечал Тарас. – Задние ноги Серка ломает. Не стану.

– Добре, – сказал Богдан Секач, атаман куреня, к коему приходился Тарас Палийко по местности своего хуторского проживания.

Атаман уже стал приглядываться до бiлявого козачка, замечая, что не прост тот и ладный сбор братский на нём – не вся похвальба. «Хлопчина з начинкою... чи то порох в ньому, то чи ртуть»<sup>8</sup>, – подумалось атаману.

После таких скачков к испытанию молодого новонаначального сечевика он подошел с сугубым пристрастием, но Тарас вновь не осрамился.

О ту пору Базавлук чуток пошире был, нежели ныне, хотя до Днепра ему всегда было далеко. Подвели Тараса к реке.

– Скачет твоя Серка довольно, а плывёт не хуже тебя? – спросил атаман с подковыркой.

– Маленько слабее, – отвечал Тарас.

– Сколько раз Базавлук туда-сюда одолеешь? – спросил атаман.

– А сколько надо? – отнюдь без младого гонора спросил и Тарас атамана.

– А как там в бурсе говорили, – кстати вспомнил Секач и свой поход до бурсы, – Иордань – не Днепр, а сорок поклонов – не сорок розг...

– Добре, пане отамане, – коротко поклонился Тарас, – только дозвошь сапоги скинуть – братний подарок поберечь.

Атаман бровь приподнял, а Тарас скинул сапоги – да и пошёл Базавлук короткими стёжками-нырками туда-сюда шить... А Серка – за ним!

---

<sup>8</sup> Хлопец с начинкой... то ли порох в нём, то ли ртуть (укр.).

На шестое возвращение вывел Тарас свою Серку, похлопал её по шее, попросил одного с виду доброго козака поддержать её и вновь пошёл мерить Базавлук в ширину, да и в длину не отказался бы. А дело шло к закату, солнце уже расплавало травы на окоёме... На двадцатый, а может, и с гаком выход Тараса на свой берег, полдюжины любопытных молодых козаков, пришедших посмотреть забаву, уже сидели на земле, а сам атаман сделал вид, что зевает, и махнул рукой:

– Ну, довольно челночить. Видим, что и ночь тебя не остановит, и сомы уж одурели от твоего плеска. Будет!

Следующий бескорыстный подвиг Тараса, тоже на берегу Базавлука и в водах его заставил козаков ещё уважительнее покачать головами. Только там берег повыше был и обрывался над глубокими местами.

Было такое испытание для новоначальных. Старый козачина, седой чуб, усевшись с молодыми на краю берега, рассказывал им про давнюю Сечь нечто героическое и при этом сгоряча размахивал рукою и люлькою в ней. И тут вдруг, как бы простительно, по старости, на размахе ронял люльку прямо вниз. Понятное дело, на то была у него запасная ради учения люлька, коя, как правило, уж успела нахлебаться и раньше...

Такое представление было устроено при четырёх впервые приехавших на Сечь парнях, и Тарас был среди них. Те трое ещё и подняться не успели, как мелкий и шустрый Тараска уже мыркнул в реку. Да и Серка, о тот час неоседланная, – за ним! Те молодые тоже нырнули с берега... Потом же они первыми и стали выныривать, не найдя люльки и отфыркиваясь. А Тараса все нет и нет. И Серка его все кружит уже в стороне...

– Утоп никак? – даже удивился старый козак.

Тут и вынырнул Тарас – и вправду, в стороне, саженьях в пятнадцати от места падения люльки, ближе к Серке – там же, где, как заметил старый козак, почему-то прямо над рекой, а не над степью, пустельга беспокойно кикал. Тарас вышел на берег, где было полого, – Серка, опять же, при нём, как приклеенная, – приблизился вплотную и поднял поближе к старым глазам козака необычайный свой улов:

– Ось, дідусь, твою люльку я відразу підібрав та бачу неподалік ще одна в мулі... а там ось неподалік і ладанка блиснула<sup>9</sup>.

Первым делом старый козак выгреб, словно орлиными когтями, своими крепкими да заскорузлыми пальцами не свою, а другую люльку, набитую илом. И ладанку, которая сразу повисла и раскачиваться стала на его руке.

– Да то ж Пидсытка всё добро! – изумился старый козак. – Пидсыток в этих местах бурной ночью Базавлук одолевал, когда у него уж на лопатках татары сидели погоней. Он им сильно тогда досадил. Какого-то мурзу-охотника сам из пищали свалил заместо сайгака. Как рассказывал сам, кинулся он в воду с берега уже без подбитого стрелою коня – тут как рванёт влёт ветрище да и сорвал с него ладанку. А люльку-то, говорил, волною вышибло из-за голенища... Потом-то нанырлся, ища, да только на печаль нанырлся. Не обрёл своих потерь. Тридцать годов с тех пор минуло. Уж и голова-то Подсытка засохла в Царьграде. Достали его татары, хоть и долго ловили на Великом Лугу.

Тут славный дед словно вспомнил про Тараса, поднял глаза – да и присел даже.

– Как же ты увидал-то в воде? – подивился он. – Там одной мути – носа своего не видать!

– А сама в глаза бросилась, когда твою люльку подобрал первой, – тряхнул мокрыми плечами Тарас. – Гляжу – ещё одна есть, не пропадать же и ей. Может, тоже твоя, дедушка, – так подумал.

---

<sup>9</sup> Вот, дедушка, твою люльку я сразу подобрал, но виже, невдалеке ещё одна в иле... а там неподалёку и ладанка блеснула (укр.).



– То-то я люльки тут, как гречу, на дно сею, – усмешкою старый козак давил изумление. – А ладанка?

– Ладанка – та блескуча, – отвечал Тарас. – Её первой и приметил, но вначале твоя люлька заботы просила.

– Ох и глаз у тебя! – признал старый козак. – Ты, видать, и пули в залп на лету пересчитать можешь!

– Ещё не силился, – просто признался Тарас.

Остальные-то молодцы вначале туго завидовать Тарасу собрались, но тут только рты поразевали, а, отойдя, сразу прозвали меж собой Тараса «пулесчётом», ибо авансом поверили, что осилит тот и такой счёт.

– В разведчики білявому самая дорожка... А начать с того, что его и на всём скаку не приметить посреди Луга, – решил в тот день атаман.

И правда! Травы-то на Великом Лугу да по сторонам от него столь высоки были в ту славную пору, что порой и хоругвь в них текла верховая – одни шапки козацкие были видны движущимися тёмными кочками, и по стройной роще пик можно было только и признать, что хоругвь. А недоростку Тарасу на его такой же недоростке Серке легко было неприметной лисой сновать по простору.

Сказано – сделано! Взяли Тараса к себе базавлукские характерники-пластуны<sup>10</sup>. Их тоже удивил Тарас – поначалу одним манером, мало позже – другим.

Для начала взялись учить его выслеживать татарских разведчиков в степи. А его и учить не надо! Он всякого ряженого татаринном и затаившегося козака с двух вёрст взором, как пулей в упор доставал, как бы тот ни таился. Сразу, ещё с места не сходя, и указывал: да вон он – на такой-то дистанции там-то сидит, так-то одет и люльку уж мусолит, дымить мечтая, да неможно ему в засаде...

– Дьявольский глаз у белобрисенького, – негромко доложил разведчик атаману Секачу. – Кабы пулями его глаз стрелял, Сечи некого бы опасаться.

– Отчего же сразу дьявольский? – усмехнулся атаман, уже провидев незлобивую и кроткую душу Тараса. – Как раз ангельский – раз Сечи на пользу. Вот и пустельга – птица ясная, над тёмной силой стоять не станет, не вран. Заметил?

– Так обижаешь, атаман! – тряхнул чубом разведчик.

Стали учить более опасному делу – проходить мимо засад, уходить от погонь и загонов. И опять словно позорил Тарас козаков нечаянно. Трёх на него насылали, потом – и дюжину из самых ловких, а он все одно – хоть пешком, хоть верхом уходил от них и пропадал мёртво. Легче малька узким веслом подхватить в глубине реки и в лодку кинуть, нежели Тараску в степи поймать! Так и доложил разведчик атаману.

– Добре! – шире улыбнулся атаман.

Только и здесь вскоре начали замечать за Тарасом чудную привычку.

Стали Тараса самой суровой плавневой науке учить – думали, здесь-то ему будет чему набраться, здесь не хуторская да степная воля, в коей рос хлопчина. Учили затаиваться, нишкнуть на долгие часы, намазавшись дёгтем от кровососов. Тарас затаился... а потом и потеряли его. Приказ был молодым бесшумно перейти на новое место. Приказ отдавался особым птичьим криком. Все перешли, а Тараса – нет. Искали всей малой ватагой – найти не могут. Снова кто-то мысль подал, не утоп ли, не загрузнул ли где.

– Он не загрузнет, – постановил учитель-разведчик, однако ж – с недоуменным недовольством.

Уж плюнули – и кричать стали по имени. Не отзывается! Наконец обнаружили случайно: лежит Тарас на пузе у воды и, оцепенев, глядит в илистую тьму.

---

<sup>10</sup> Пластуны – разведчики.

С шагу позвал его учитель сечевой – будто не слышит его Тарас. Не выдержал учитель – толкнул ногой. Только тогда и очнулся Тарас.

– Ты чего, с водяным, что ли, беседы развёл? – как бы ещё в шутку, полюбопытствовал учитель-разведчик. – Аль на русалку засмотрелся?

– А там жуки-плавунці так спритно за мальками полюють... і так боки у них виблискують, як броня гусарська<sup>11</sup>, – ни слова не соврал Тарас: что видел, о том и сказал.

Первый раз в своей неописуемо опасной жизни разведчик прямо рот раскрыл от изумления и не знал, что сказать... В бурсе розги полагались, и тут Тарас стал их без всякой мысли о страхе ждать. Но Сечь – не бурса, розог на ней на учеников не держат.

Коротко говоря, Тарас своими чудными замираниями о красоте живого мира ещё пару раз учителей угостил прежде, чем развёл руками атаман.

– Надо было сразу знать, что чудной, – решил и рассудил он. – Таких талантов ни у кого не видано, а значит, сам Бог изъян назначил, ибо у всякого бабой рождённого изъян должен в чём-то быть после Адамова грехопадения. А то бы, и вправду, только с виду человек, а на деле – бес неведомый. Раз человек, то с такими-то родимчиками пропадёт не на первой, так на второй стычке... Сдаётся, что Бог прислал его на Сечь ради какого-то необходимого для Сечи дела... Знать бы, для какого, чтобы впустую такой талант не схоронить в землю, когда білявый запнётся за журавля в небе, а тут его ясырем-синицею на земле и прихватят.

В одном ясном задании Тарас ни разу осечки не дал. Посылали его по учебному артикулу с «важной вестью» – устной, потом и письменной – от одной учебной стоянки до другой. В разное время, днём и ночью, в солнце и в непогоду. Меняли места. И Тарас доставлял депешу, нигде не успевая в дороге оцепенеть, да вдвое живее против обычного вестового. Про засады и погони на пути и говорить нечего – только зря потели молодые козаки, пущенные ему вдогон.

– О, как оно! Значит, не разведчиком, а особым вестовым и быть білявому! – вздохнул не то с облечением, не то с печалью атаман.

А учитель-розвідник<sup>12</sup> вздохнул по-своему, видя, что песни-думы о баснословном розвіднике, его ученике, не выйдет, и ему, учителю такого героя, в той песне-думе почётного места уже не найдётся...

---

<sup>11</sup> А там жуки-плавунцы так скрытно за мальками охотятся... и так бока у них сверкают, будто доспех гусарский (укр.).

<sup>12</sup> Розвідник – разведчик (укр.).

## Глава вторая. На Сечи

Меж тем Тарас, спеша на майданный зов, уже преодолел напрямую, а за ним – и его Серка, первые фортификации Сечи и добрался до первых живых заграждений.

Состояли те заграждения из сечевиков, коих уже никакой пушкой не поднимешь, но и в гроб покуда не загонишь. В мирное время польза от них была первейшая такова: от их, лежавших поперек всякого пути пышных фигур, дух горилки подымался столь густ и ядрён, что всё комарьё и оводы-гедзи, летевшие с Базавлука, с плавней, на сытную козачью кровь, здесь же и гибли над вольно раскинувшимися козаками и на них самих, осыпая их невесомым пеплом. В часы же внезапных наскоков на Сечь – татарских или ляхских (а такое случалось, когда основные хоругви покидали Базавлук) – те же фигуры, не способные руками своими поднять самопалы и сабли, служили добрыми укрытиями для стрелков трезвых и безропотно принимали в себя десятки пуль.

Вот их-то, затаив дыхание, а в остальном без труда перескочил Тарас и нырнул в узкие улочки-проходы меж долгих, как сараи, куренных изб. Здесь ему пришлось шустро проскальзывать меж других фигур, коих пушка добудилась-таки и подняла, но двигались они грузно на звук литавр, даже не ведая, на чей зов идут – то ли кошевого, то ли уж ангелов Судного дня, поднявших свои трубы.

Коротко говоря, достиг Тарас майдана не как во сне – первым, а в яви – едва не последним из свежих-трезвых. Упёрся он взором в стену мощных голых спин, внизу омываемую морем шаровар. Встал он, конечно, позади своего куреня и принялся слушать.

Однако ж его заметили свои. Шелохнулся ветерком тихий общий наказ: білявчика вперед! И сильные до боли руки поочередно протаскивали Тараса сквозь грозную, где мягкую, а где и твёрдую, как вплотную стоящие дубы, кипучую терпким потом массу тел. Так Тарас оказался против своей воли впереди – теперь точь-в-точь как в том своём стыдобном сне.

Он в первый-то миг даже холодным потом облился и посмотрел на ноги – на своём месте ли шаровары, в доброй ли яви! Да и голос сверху звучал отнюдь не баснословной панны-шляхетки, а мужской. По говору – чужака из далёкой и не известной Тарасу местности.

Тарас запрокинул голову.

На галерее сечевой избы стоял крепкий красавец, русский чужеземец, не с Украины, коего, впрочем, за один его знатный вид и молниевый взор уже можно было смело избирать в кошевые и булаву вручать. Голова большая. Усищи чёрные – длинные, хоть нагайки по сторонам вешай. Скулы, как мельничные жернова, шевелятся. Глас – зычный, бычий. В глазах – уголья. И сам велик ростом – стоит синим столпом в своём с отливом жупане, ало подпоясанным.

Наверху же, под сенью того чужестранного для Тараса козака, как бы едва виден был кошевой того года, наказной Тихон Сова, прозванный так за то, что имел причуду невольно моргать глазами поочередно, пучить их, а в минуту раздумья и вовсе держать один глаз как бы мертвецки спящим. Однако речь не о Сове, и не им речь говорилась.

– ...А что, панове козаки, есть самое гиблое в дальнем походе, спрошу я ваше товарищество? – продолжал не вещать, а как бы по душам разговаривать с великим кошем и мнение его высказывать тот пришлый и знатный козак. И сам же ответил: – Главная гибель – духом припасть. А что нужно, чтобы духом не припасть, спрошу я, панове товарищество?

– Да чтоб горилки запас не иссяк! – крикнул ему кто-то снизу, слева от Тараса да из глубины товарищества.

– На погибель тебе! – тотчас грозно отозвался из-под плеча гостя кошевой Сова и выпучил глаза, по-совиному ища возмутителя, и что же – нашёл! – Я тя высеку, Лукашка, не посмотрю, что есаул. За горилку в походе.

Чужой козак не двинулся в лице, а только одобрительно кивнул на приговор кошевого.

– А чтобы духом не припасть, панове, в великом походе, надо и цель иметь великую, – спокойно и дельно продолжил он. – Такую, чтобы огненным столпом впереди, на окоёме земли, день и ночь перед глазами, пред умом и сердцем стояла, как тот огненный столп, на который шел сам пророк Моисей со своим племенем, изойдя из Египта. Та цель прийти в землю, Богом дареную, сорок лет давала силы ему, пророку Моисею, вести свой народ, и до сих пор слава того похода известна. Великую цель надо иметь и видеть пред собою, тогда слава похода останется в веках. А какова цель, панове козаки, наша с вами, коли двинемся?

– Так москаля бить! – поспешил оправдать себя простой догадкой тот же есаул Лука Малой.

Кошевой же Сова глянул искоса вверх на высокого в разных смыслах гостя и, не увидев одобрения в его лице, отвернулся и закрыл один глаз.

Как бы спрехвала улыбнулся козак-гость.

– Эка невидаль – нынче москаля бить! – насмешливо проговорил он. – Когда сам царь Московский Димитрий Иванович, чудесно спасшийся от своих воров да и от ляхов тож, слава Тебе, Господи! – Тут козак сделал остановку речи и так размашисто, жарко перекрестился, будто сам только что был чудесно избавлен от смерти. – Сам царь Московский Димитрий Иванович пришёл на свою Москву бить своих москалей за то, что предали его, пришел бить своих бояр за то, что поставили из своего круга потешного царька Василия... Да ведь и не турка идем бить, бусурмана, не ляха папского нынче, а православных же... какой-никакой москаль, а крестится так же, как мы. Так чем себя прославить пойдём, ежели пойдём? Кто из вас скажет, панове товарищество?

Тишина воцарилась над кошем – такая тишина, какая бывает над широким полем в самый полдень.

Сова снова посмотрел искоса на гостя, а потом снова отвернулся и уже второй глаз прикрыл, как бы намекая: «Не я виноват в твоей неудаче, пришлец, хоть и славен ты видом. Сам запутал козаков. Сейчас свистанут тебя отсюда, а я с краю постою, чтоб не задело».

И правда, кто-то выкрикнул голосом потвёрже:

– Да не томи уж нас! А то плюнем на твою Москву и на москалей да разойдёмся!

– А ты уж нам заплатишь за скучный сбор да простой! – выгодно добавил ещё кто-то, особо умный.

Однако ж терпеливо, не моргнув глазом и не дрогнув длинным усом, выждал нужное время пришлый козак. Видно, и в бою он умел хладнокровно дожидаться врага даже ближе, чем на выстрел.

– Так я зову вас не просто Москву и москалей воевать, – вполголоса и даже как бы с огорчением о недогадливости сечевиков вздохнул он... да тут же как гаркнет до самых краев Великого Луга: – Рим воевать идём! Идём на Рим!

Колыхнулось все товарищество, будто лес – от налетевшего грозового шквала. Сова вздрогнул и выпучил глаза вниз.

– Как на Рим? – слышались гулкие возгласы ватажников. – Ты ж на Москву звал! Рим-то в какой стороне, не обознался? На кой бис нам Рим? Туда не дойти – папа тьму соберёт!

И снова спокойно улыбнулся чужой козак. Видно было, что знает он, зачем не с той стороны фитиль поджигал.

Он поднял руку, но не властная его и сильная рука, способная разрубить врага до седла, угомонила сечевиков, а всё же та же неизменная, спокойная и куда более властная в своей веской невозмутимости улыбка.

Затих кош. Сова перевел выпученный взор на гостя.

– Коли тычете вы, панове козаки, в тот Рим, где папа сидит, то обознались вы, а не я, – стал снова искусно поучать низовых козаков пришлый козак в донской сряде, значит, уже не «козак», а «казак». – Тот Рим давно усох. Идти на него... как за осетрами – в болото. Кабы

была в том Риме слава, было бы истинное богатство, то сам римский император Рудольф сидел бы там, а не в своём Пражском Граде. В том Риме пусть себе папа и сидит пауком на паутине сдохлыми мухами. Был и второй, куда более славный, наш православный Рим. Сиречь Царьград. Да только пока нас с вами на земле не было, захватил его бисов султан-басурман, а с ним тьма гогов и магогов бесерменских... Честны будем, панове, пред самими собою: сил отбить у султана Царьград нам пока не достаёт. Однако ж достанет! Придет время – достанет! Славой себя покроем всесветной и богатства обретём несметные. А для того нужно нам поначалу подсобить государю Димитрию Ивановичу – дай ему бог здоровья! (и пришлый казак вновь посёк воздух пред грудью крестным знамением) отбить под его истинную, Богом данную власть град Москву, ибо она уже век как верно «Третьим Римом» по праву зовётся. А заодно зовется и новым православным Царьградом, коим ещё недавно правил истинно великий царь Иван Васильевич, упокой Господи его душу! (И в третий раз истово перекрестился пришлый). Недаром на нее и ляшский король, и султан – оба зарятся. Пособим, побьём бояр москальских и купчин, предавших государя, Иван Васильича сына и законного наследника, да и продавшихся ляхам. А у бояр и московских купцов тех богатств – так и у султана глаза ослепли б зреть. Едва не каждый из вас почести и дары обретёт, разве только полковникам положенные...

Пока пришлый говорил, тихо пошевелил губами Сова, даже Тарас в первом ряду не услышал его слова: «Эк высоко башку задирает, кабы шапка не слетела!»

– Ляхам, кои тот Третий Рим, уже прибрать к рукам задумали, крепкий козацкий кулак покажем, – продолжал пришлый. – А потом и сам Ерусалим пойдёт отбивать у поганых. Ибо то царь Димитрий Иванович и замыслил свершить с вашей, панове козаки, грозной православной подмогой.

– А коли бояре да купцы поганые успеют разбежаться со всеми своими скарбницами прежде, чем мы до твоего Рима москальского дойдём, кто ж тогда нам довольство окажет? Кто ж издержки пути покроет? – Вот какой умный послышался вопрос из товарищества, морем-океаном стоявшем под стенами Дома Рады.

Поверить было трудно, а только тот умный вопрос, который скорее жидовину, нежели козаку первым на ум прискачет, задал тот же Лука Малой. И то особо отметил про себя кошевой: «А ведь в Лукашке бесов легион, и среди них неглупые водятся!»

– А вот вам... – И словно факир, раскатил пришлый длинную хартию, кою держал трубою в левой руке: – За подмогу вам, панове, такие права и привилегии на Москве, такие кормы-жалованья, какие и не снились вам в Украине!

– Добре! Слава царю православному! – поднялись к небу крики.

Продолжил поднимать козачий дух пришлый:

– Кабы увидел их ляшский король Жигимонт, так позеленел бы и сдох от злости! Так что ж? Разве не славная на все века цель – поход на Рим? Атила ходил – и прославился на века!

И снова повернул на вопросы-искушения:

– Разве слабее будем Атилы, Бича в ту пору Божьего? Да и кому отдадим Москву, третий, православный Рим? Ведь, панове, Москву нынче или Богом данный православный царь Димитрий Иванович себе по закону вернёт, или лях Жигимонт прикарманит. И уж тогда обложат нашу Украину ляхи с трёх сторон света, а на четвёртой – хан с султаном! Аки дракон огнедышащий челюстями нас сожмет, никуда потом не деться. Так что ж, попустим ли ляхам-католикам забрать Москву и всё царство её православное?

– Не попустим! Неможно! К чёртовой матери Сигизмунда! – раздались крики. – Берём Москву!

– Идём же взять и уберечь Рим православный! – даже не крикнул, а почти шепнул пришлый козак.

Тут уж и вовсе полыхнуло товарищество «единими усты, единым сердцем», как может полыхнуть сухая степь от удара молнии:



– На Рим! На Москву!

Будто весь мир разом воодушевились завоевать козаки.

Спокойно и величественно обозревал пришлый казак быстро созревший урожай своего воззвания.

Сова уже не пучил глаза, а моргал ими быстро, как бы семена веками, – и тотчас их оба вновь закрыл, когда прорвалось из коша:

– Веди! Будь кошевым! Бери булаву!

Не колдовской ли силой обладал пришлый, если на один его властный жест – повёл он рукой, как коня по хребту погладил, – тотчас вновь затих кош?

– Кошевой есть у вас добрый, панове товарищество! – сказал он. – С умом кошевой Тихон Лукьянов-Сова.

Сам Сова не шевельнулся даже, зная, что себя в эту минуту выставить нельзя, за палицу – не цепляться. А то от своих же козачков тою же палицей кошевого можно вмиг на самый чуб печать гробовую получить, как с иными властолюбцами, кошевыми на день-час, не раз в былые года случалось.

– Его святое дело – лад на Сечи хранить, покуда славный гетман Пётр Сагайдачный бусурманам кишки обмолачивает вместе с Михайло-атаманом. Верно?

– Верно! Добро баешь! С умом Сова!

Сова только поклонился низу, а слов благодарности не рёк, почитая то бесплодным в общем гаме.

– А кто со мной, как за простым атаманом, пойдёт, того сам православный царь Димитрий Иванович к сердцу прижмёт, – пообещал пришлый казак и добавил, не страшась: – За то и поручусь, как истинно жалованный царский боярин!

– Веди! Веди на Москву, боярин! – вновь полыхнуло козачье войско.

И вдруг колыхнулось оно волнами, как вода от столкнутой в неё лодки. И сверху стало видно, как сквозь задние ряды вперед стало двигаться-напирать что-то большое, округлое, весу немалого. Козаки раздвигались и смыкались за ним. То была бочка.

– Покропи! Покропи! – стали выкрикивать сначала те, кого та бочка раздвигала, а потом уж и вовсе поднялся хор единый: – Покропи! Покропи!

Тут с особой ухмылкой – мол, сам накликал, да не слабо ли будет? – глянул сбоку Сова на пришлого. А казак в донской сряде ощутил быстрый взгляд кошевого – и только правую руку свою в бок упёр, так что локоть его упёрся в кошевого. Тот взял да подвинулся. Тихий был кошевой Тихон Сова, как его только и выбрали? Как-как?! Да по весомому слову гетмана Сагайдачного, оставившего Сову присмотреть на Сечью.

Меж тем бочка подступила к дому. Была она на три четверти полна дёгтем.

– Покропи! – кричали козаки. – Спускайся!

– А чего мне спускаться? Я отсюда живее сойду, ждать себя не заставлю! – грозно и уверенно ответил пришлый. – Да и плеску больше станет – все и окропитесь, как первые, так и последние зараз без очереди обид!

Взор его стал наливаясь жаром – дёгтю бы от такого взора закипеть:

– Да только маловата бочка-то мне. Как бы не треснула. Поднимите повыше сюда её.

Вот уже и стал атаманом для низовых пришлый донец. Десятки сильных рук подхватили тяжеленную бочку и подняли на полвысоты до галереи.

– Ну, теперь держите крепко, тяжёл я! – умело искушал сечевиков пришлый.

– Не бойсь! Прыгай! Кропи! – был ему единодушный ответ.

– Окажи милость, пане кошевой, – тихо, дружелюбным тоном попросил пришлый Сову. – Подержи, благодарен тебе буду.

Сова подставил руки. Пришлый живо скинул с себя на руки кошевого свой тот богатый, синий с отливом жупан, отороченный красной парчою, за сим – густую шапку, сверху хартию

положил. Тотчас легко перемахнул он через балясины, встал пятками на край, носками – на воздуси, отпустил десную руку, вольно, всем на вид, перекрестился ею – и спрыгнул напрямик и точно в тёмное жерло бочки.

Ухнуло – будто мортира вхолостую. Тяжел был пришлый, да и козаки не слабы: не дали бочке до земли опуститься от падения тяжести. Крупен телом был пришлый – разом, как и задумал он, дёготь снопом из бочки взлетел! Да так высоко и широко, что сам кошевой Сова едва успел вглубь отступить – не желал он кропиться, как и не собирался на Москву идти, да и пачкаться не любил.

И правда, разом окропило дёгтем едва не всё войско. Те, какие слишком в стороне оказались, руки подставляли. А уж потом всем, кому с воздуха дегтярного кропления не досталось, досталось с чёрной руки пришлого – он сам прошёлся по рядам и помазал чистые лбы под громкие славословия.

Тарас, хоть и близко, стоял, а ему тоже, на удивление, не досталось. Он видел, как падают на него с неба тяжёлые чёрные капли дёгтя, но никакой красоты в том не зрел, не то что в алмазных каплях святой воды, разлетающихся от руки батюшки со священного кропила в ясный день при водосвятии. И о чудо: ни одна из многих чёрных капель, приходившихся на его место, так и не упала на Тараса – все те капли успевали подхватить широкие ладони жадных до дегтярного посвящения козаков. Бытовало суеверие: от такого дёгтя крепче потом рукоятка сабли к ладони и пальцам липнет, вражеская сабля – по плоти только и скользнет.

Пришлый донец даже удивился чистоте Тараса, когда подошёл к нему:

– А ты как же увернулся, белявчик?

– Так не попало, застили мне, твоя милость, – просто ответил Тарас.

Пришлый усмехнулся со странной пристальностью во взоре:

– Что же вы, здоровые детины, малого, да удалого козака обидели, мощью своей погребли? – спросил он кош, однако никуда не поворачиваясь, а так же пристально глядя сверху вниз на Тараса. – На же вдосталь, белявый козачок! Радуйся!

И он провёл своей чёрной рукою прямо по лицу Тараса, в один миг обратив его ликом в ефиопа. Что тут же заметили козаки и принялись хохоча со всех сторон домазывать Тараса в мурина с головы до ног.

Через два часа пришлый донской казак после доброй, нечаянной бани и смены сряды не на чистую, а на самую новую сидел в верхней светлице сечевой избы. Он возвышался, повернувшись к трапезному столу боком, расставив в стороны свои мощные длинные ноги, положив на столешницу левый локоть, правой же держа и не ставя на стол большую серебряную чарку с мёдом. Он думал.

Он был весь снаружи чист, как ещё в жизни не бывал, и от чистоты густо красен, как новорождённый, только нет-нет да и подносил к ноздрям левую кисть тылом, принюхивался и снова морщился. Но морщился он не только от дегтярного духа, въевшегося в кожу даже доброй бане в посрамленье. Морщился он и от своих же мыслей-дум, налившихся тягучим дёгтем. Те думы изливались из его разума в сердце, наполняя душу тёмным вязким весом. Чуб его опускался всё ниже, хотя бы в самое время чубу вскидываться от радости – сечевика уже повсюду гремели уздечками по зову его и привезённой им царской хартии.

Другой рукой он поднимал с бедра чарку, но чаще подносил её не к устам, а к горячему своему лбу.

Кошевой Тихон Сова сидел обонпол стола, повернувшись в другую сторону и тем как бы показывая, что не мешает пришлому думу думать, а сидит сам по себе на правах терпеливого хозяина. Свою чарку Сова держал на столе и поглядывал на неё одним глазом, при том осторожно приподнимая взор на пришлого.

Сова пока молчал, но думал не о своём чём-либо, а о пришлом казаке. Думал он так:

«И куда тебя бесы гонят, битюга длинногачего! До смертинки – две пердинки, а ты и вторую свою не успеешь услышать-обонять, как тебе её колом заткнут! (Мудр был в летах Тихон Сова, прозорлив – недаром его оставил на Сечи не для боя, а для присмотра сам Пётр Конашевич-Сагайдачный!)

Гулял бы вволю у себя на Дону – так продолжал думать Сова. При твоих-то жеребых статях стал бы первым на Дону атаманом, всему товариществу на гордость, диво и память добрую! А так кто ты есть, хоть и виден издали да слышно тебя, как хуторского петуха, за семь вёрст? «Боярин»? Какой ты, к бесам, боярин! В чужую породу полез. Видал я бояр да высокогербовых ляхов. Вот кто породой пышит, как солнце – жаром! Да и какой-такой царь-государь тебя боярством угостил да искусил? Тот москаль, что уж трижды из гроба выскочил? Что ж за цари такие у москалей пошли, волкодлаки, что ль, аль упыри? А как перебесится Русь, так что, думаешь, оставят ли тебя в своём ряду истинные по древней крови бояре на вонь и позор себе? Эх!»

Так примерно думал кошевой Тихон Сова и жалел, что запруды начавшемуся движению поставить не в силах: сам гетман Сагайдачный прислал ему письмо с велением – если оставшихся на Сечи козаков не ляхи, а донцы или царские бояре на свой кошт позовут Москву воевать, то прочие курени пустить, а самому остаться Сечь сторожить со своим куренём.

Имя пришлого казака было Иван Мартынович Заруцкий. Племени он был русского, роду тернопольского, по приписке – казак донской да перекати-станицы. Сам себя он называл «казакком вольным», а ныне ещё и «боярином московским».

И вправду подумать, какие бесы гнали его в самое пекло разгоревшейся на Руси смуты? Да, наверно, можно было бы определить породу тех бесов, кабы задать Заруцкому такой прямой вопрос: «А променял бы ты, лихой казаче, тридесять лет степенного атаманства хоть на один день полного царства? Вон как заговорщик, покойного государя Иоанна Васильевича конюший Ивашка Фёдоров, коего сам царь, про крамолу того узнав, одел в свои одежды, на свой трон с почётом усадил и царские почести ему, как простой государев слуга и холоп, воздал, а за сим тотчас и проткнул на троне длинным ножом насквозь, так что острие даже до орла царского достало». И немного сомненья в том, что вольный казак Заруцкий, тёзка пронзённого царского боярина-конюшего, ответил бы: «Коли не шутя бы поклонился мне сам царь при моей угрозе ему, а потом, осильнев ратями, навалился бы и хоть бы разорвал меня в клочья, то и на один час такой власти всю жизнь, не задумываясь, променял бы!» Вот он, каков тот бес! Изгоняется ли такой постом и молитвой? Про иные времена не скажем, а спросим, кто из одержимых в пору московской смуты окстился, кто без мук и крови очистился? Легионы бесов вырвались из преисподней и шныряли по Русской земле, брезгуя свиньями, а людьми – отнюдь нет!

«Что ж ты пригорюнился теперь? – думал и недоумевал про пришлого казака Тихон Сова. – Али войска тебе тут мало показалось?»

Как в воду смотрел Сова. Про то и мучили думы «казака-боярина» Заруцкого, что он сам про себя никак решить не мог – то ли мало ему запорожского войска, то ли слишком много.

Зная заведомо, что немало козаков с Конашевичем ушли на юг бесермен бить, Заруцкий рассчитывал привести к Москве – в подмогу тому, кому он присягнул как царю Димитрию Ивановичу, – самое великое тысячи три конницы козацкой. А собиралось уже втрое больше! И страшной в бою пехоты запорожской тоже тотчас могло двинуться не меньше, да куда пехота была не в прок: долго ей идти до Москвы, а нужно теперь долететь ветром. А девять тысяч уже было жаль отдавать под начало хоть и самого царя! С девятью тысячами можно было подумать и о своих делах. С девятью тысячами можно было идти не сразу на Москву, а погулять степями и на такую свою силу пособрать, как на большой и тяжёлый ком снега зимою, ещё столько же да полстолько же! А тогда уж и поразмышлять над судьбой сугубо!

Так бы и поступил рискованный казак, кабы не стоял у него перед глазами ещё дымивший кровью неудачи «шлях» судьбы Болотникова. Болото тоже войско собрал немалое, всякой сво-

лочи к нему отовсюду прилипло, как мух к дерьму, и даже силу он показал, раз-другой откинув царские полки. Да ведь уместил своим войском весь «шлях», растерял войско, припавшее духом, и теперь сам в каргопольских узах гниёт, позорной смерти ожидая!

Тихон Сова не любил, когда чужой человек подле него долго молчит – такой всегда чем-нибудь да опасен. Дождался он, пока пришлый вновь поднесёт чарку не ко лбу, а ко рту... И заговорил с намёками, пока тот отпивал крупными глотками, ворочая вверх-вниз кадыком величиной с булыжник.

– Эх! А ведь и вправду ты, Иван Мартыныч, лихо козачков под свою руку закалил! И огоньком, и холодком! Ты бы тут, на Сечи, и булаву мог бы взять играючи, коли захотел бы.

Заруцкий поставил чарку на колено, повел усами.

– На что мне булава? – усмехнулся он и только после усмешки повернул серьёзную голову к Сове. – Я теперь боярин. Я теперь и скиптру держать могу, не обожгусь.

– Обижаешь, Иван Мартыныч, Сечь, – мирно заметил Сова, неохотно радуясь тому, что не ошибся в своих молчаливых насмешках и опасениях по поводу пришлого. – Иные коронные бояре и магнаты познатнее московских да и побогаче их за великую честь почитали стать кошевыми и в свою руку нашу булаву взять. И смелость к тому находили.

Заруцкий пригнул голову набок, остро прищурился:

– Какие-такие «коронные бояре»? Ляхи, что ль, Сигизмундовы?

– Да у коронных ляхов булава запорожского кошевого в чести не меньше княжеского пернача, – отвечал Сова. – Иные и подержали её в руке.

– Что несёшь-то, кошевой? – криво завозил усами Заруцкий. – Ведь у вас первым делом перекреститься православно надо, чтобы простым сечевиком признали, не то что гетманом. Что же ты брешешь?

– Оно, конечно, так и есть, – кивнул Сова, – для любого приходящего вновь козака... Но ежели кто из высокородных поклониться готов Сечи и послужить ей даже против круля, а к тому же отважен до безрассудства, тогда к храбрости и знатности на Сечи особый подход. Вот о Самеке, Самуиле Зборовском слыхал?

– Что-то свистит в левом ухе, – небрежно отвечал Заруцкий. – Может, и слыхал.

– Как до меня было, не скажу, а то, что сам, своими глазами видел, – и тотчас выпучил оба глаза Сова, так что неволей страшен стал, – тебе расскажу. А ты решишь, как на то смотреть, с какого боку.

То было тридцать лет назад, ещё на Токмаковской Сечи, в тот самый год, когда пришел на Сечь совсем молодой козак Тихон, Тишка тогда. Однажды поглядели козачьи сторожа за реку и глазам свои не поверили: подходит с той стороны невеликое ляхское войско. Подступает, ничуть не таясь, и разодето, как на королевский парад-смотр! А всего-то три сотни верховых – дробным залпом сечевой гарматы разом скосить в половину.

«Чего надо, ляхи?» – крикнули сторожа.

Выехал вперед самый пышный и дородный и кричит на русьском наречии: мол, ротмистр коронный Самуил Зборовский желает с кошевым говорить.

«Эк ты храбро, пане, выдумал-надумал! – отвечали козаки. – Переплавляйся сам, а мы кошевого пока спросим, не занят ли он, чтоб на тебя выйти-подивиться».

Коротко говоря, вскоре окружили на своём берегу козаки отряд ляхов, весь состоявший из гербовых отпрысков. Окружили плотно – одним весом, без боя, могли сдавить-подавить ляхов. Окружили и смотрят молча. Те, однако, молодцами, сидят в сёдлах спокойно, только пальцы на рукояти сабель положили.

Один куренной атаман не сдержался:

– Никак обезумели, ляхи! Сворой борзых Сечь брать! Положить вас всех – как с борща пропердеться!

– Да и у вас немало пропердеться не успеют! – с весёлым смехом, задорно отвечал сам ротмистр Зборовский. – А оставшиеся пожалуй успеют, что так и не узнали добрых известий.

– Каких таких?

Подъехал любопытствовать и кошевой. Козаки расступились.

– Ну, ясновельможный, выкладывай свои известия открыто, – сказал тогдашний кошевой. – У меня от ватаги тайного нет.

– Начну я с того, что нынче с вами я заодно, – рек ясновельможный. – Вы короля не любите издали, а мне он стал вблизи и вовсе постыл.

По рассказу ляха-магната, обидел его донельзя король Стефан Баторий. Началось же с того, что пред очами короля не оказал пану Самеку происхождения какой-то придворный вельможа-шляхтич. За это Зборовский и треснул его по-простому кулачищем так, что с того во все стороны его пуговики-брильянты разлетелись и перья все поломались. «Что за варвар-грубиян хуже невежи-козака! – вскричал круль. – Вон из моего дворца и из Речи Посполитой вон! У меня шляхта вежлива и любезна!»

«Ах так, твоё ж величество! – скрежетнул зубами Зборовский. – Как я «козак» по твоему слову, так в «козаки» и перекрещусь!»

Отряс придворный прах со стоп своих пан Зборовский, а, прежде чем Речь Посполитую покинуть, поездил по ней петлями да набрал себе лихую шляхетскую хоругвь из молодых дворян неробкого десятка, коих отцы наследством обидели в пользу старших, а к ним в придачу – дворянчиков обедневших и просто приключения искавших. Все они не побоялись явиться прямо на Сечь, зная, что могут их там порубить без расспросов, да зато и самим тогда напоследок душу отвести, отметитья навек отчаянным делом, а не пирушкой.

– А вот и добрые известия, – продолжил пан Зборовский. – Король собрался Московию воевать да и двинулся уж в неё с западной стороны. Значит, все ратные москали ему же навстречу потянутся. Для нас вся южная сторона Московии открыта уже. Вот и предлагаю я вам, милостивые панове, погулять на славу лёгким да выгодным походом. Мои-то юноши поиздержались: на пузах шёлк, а в пузах щёлк. А и сам бы я размялся да слух до короля пустил, чтоб уразумел он – зря прогнал храбрейшего шляхтича... да и он, я, то есть, в точности его веление козаком стать исполнил бы, ибо веления крулевские на ветер не бросаются. А чтобы и вы, храбрые панове низовые, знали, что не пятой ногой я к собаке суюсь на подмогу, так я взнос с собой прихватил – шесть пушек лучших немецких дарю и иного оружия да и денег столько, что в лишний поход идти не надо.

– Да где ж твои пушки-то, ясновельможный? – с сомнением спросил кошевой.

– Так ясное дело, припрятал до поры, – как бы удивляясь простоте кошевого, сказал магнат Зборовский. – Кабы вы меня издали прямо с пушками увидели, так не расспросами, а своими же пушками зараз бы и встретили, разве нет? Да и пригодились бы ещё мне пушки, если бы вы не понятливы оказались и пришлось бы от вас ноги уносить...

– Ай, Сократ, а не лях! – раздался высокий голосок сечевого писца, слушавшего переговоры с казачьего тыла.

Рассмеялись козаки. Дело было сделано! Пустили на Сечь бедового ляхского вельможу. В первые же дни он перепил всех на свои деньги и на свои же всех упоил. Развеселил и раззадорил походом на москалей козаков так, что на пятый день гульбы, когда уж ни одного шинка целым и в дальней округе не осталось, дружно вручили ему козаки булаву, а опохмелившись, пожалуй о том не успели, как уже двинулись в поход. И не обманул лях-магнат – вовремя погуляли на севере козаки, много добра москальского прихватили, да и шляхтичи юные поправились своим старшим братьям на зависть.

– Да и другой отважный лях, Кшиштоф Косинский, тоже булавой за натуру свою лихую и за обиду на короля наделен был, – открывал Сова Заруцкому отнюдь не подноготную Сечи. – И закончили оба дни свои достойно, по-нашему, по-низовому. Косинский погиб, когда Черкассы

штурмом брал. А Самек-то Зборовский и вовсе королю ультиматум предъявил, да попался и голову на плахе сложил, аки славный наш предводитель Наливайко. А полвека назад был у нас один атаман, он же ротмистр коронный. Наши-то его Богданом звали, а был он Бернаром, наичистейшим немцем, власами белее того белявчика, коего ты последним мазанул. Бернارد Претвич – истинное имя ему. Вот храбрец был! Прославился как «степной рыцарь». Семьдесят битв против татар провел, во всех победил! Ему, немцу-то, булаву, как слышал, предлагали, да он отказался с низким поклоном. На то сослался, что уж подписался-присягнул наёмником крулю, в поточную оброну<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Поточная оброна (оборона) – польское наёмное войско для защиты юго-восточных границ от татарских набегов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.